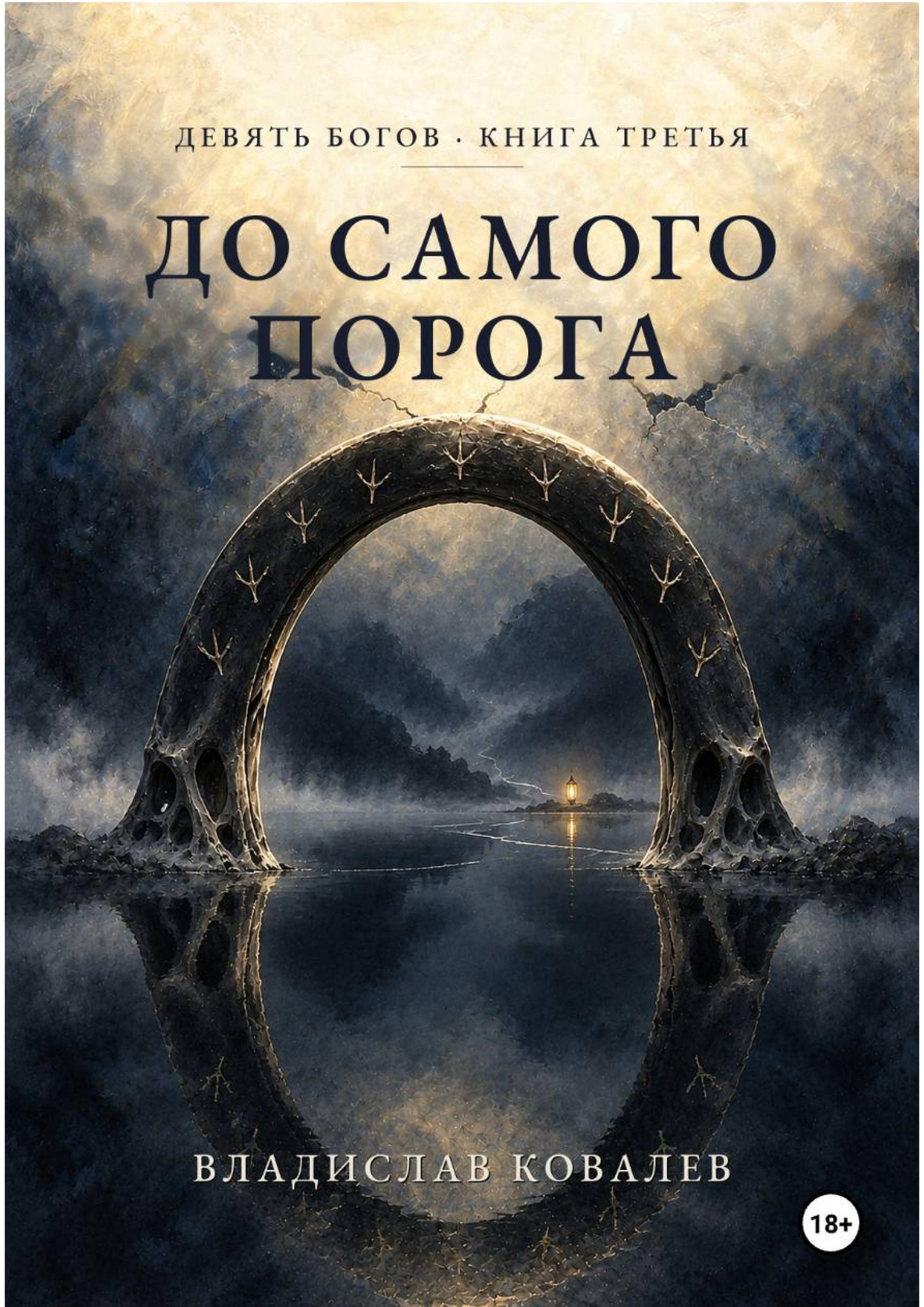
ДЕВЯТЬ БОГОВ · КНИГА ТРЕТЬЯ

ДО САМОГО ПОРОГА



ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕВ

18+

Владислав Ковалев

До самого порога

«Автор»
2026

Ковалев В. А.

До самого порога / В. А. Ковалев — «Автор», 2026

Боги воюют в небе, и звёзды сдвинулись с мест. На севере тот, кто считает, взвешивает города и берёт свою меру; на юге тысячи людей улыбаются одинаково и говорят одним тёплым голосом.Кассиан вернул сестру — в долг, и однажды должен будет провести того, кого назовут, туда, куда скажут. Сновидица возвращается в родной город за тем, что спрятано у слепой старухи. Капитанша выбирает между островом и командой. Наследник Кордара — между короной и миром. А рыцарь с искрой в мёртвой ладони учит людей вспоминать свои имена.Третья, завершающая книга цикла «Девять богов» — о том, кому принадлежит сила и как отпустить то, что держишь.

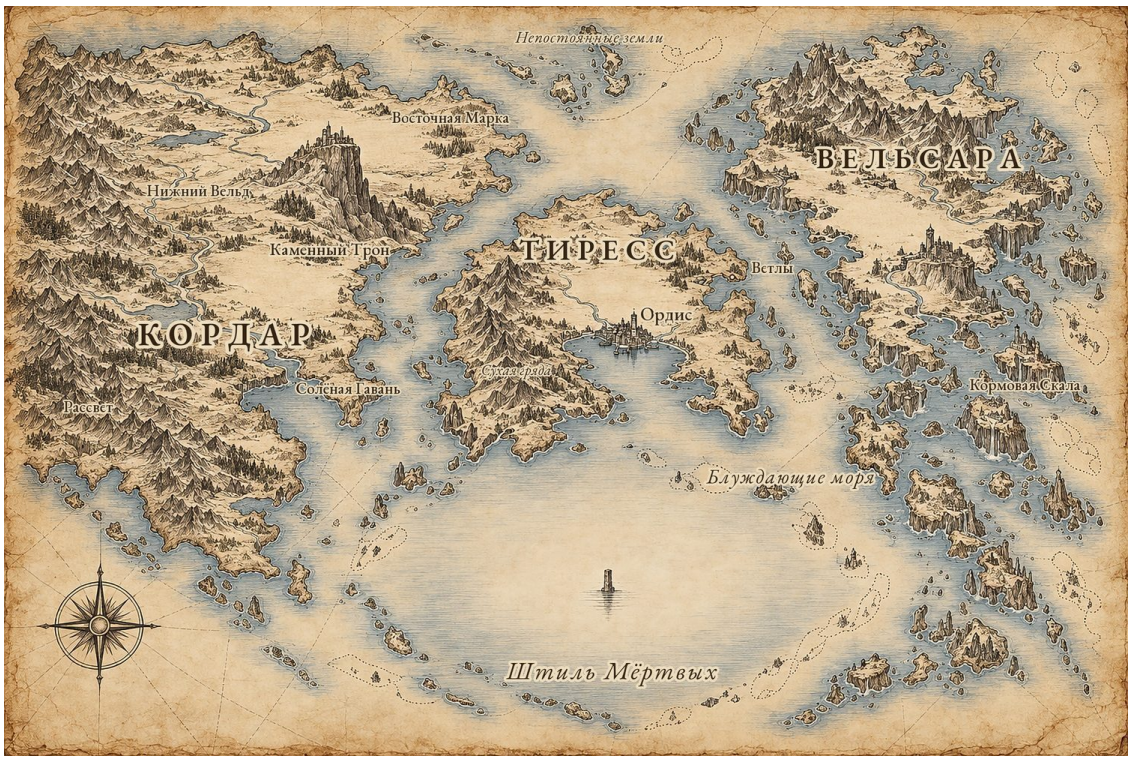
© Ковалев В. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Карта Эйрдана 5
Восемь, которых нет 6
Последний из Девяти 14
Тот, кто был до них 15
Действующие лица 16
Пролог 27
Часть первая 31
Глава первая 33
Глава вторая 43
Глава третья 51
Глава четвёртая 60
Глава пятая 68
Глава шестая 76
Глава седьмая 84
Глава восьмая 93
Глава девятая 103
Конец ознакомительного фрагмента. 112

До самого порога

Карта Эйрдана



Восемь, которых нет

как их рисовали на стенах храмов



Лиэна
Сны · Граница
Ей снились все спящие мира



Дейрон
Война · Спор
Спорил громче всех в Совете



Сивель
Жизнь · Рост
Держала чашу, из которой пьёт всё живое



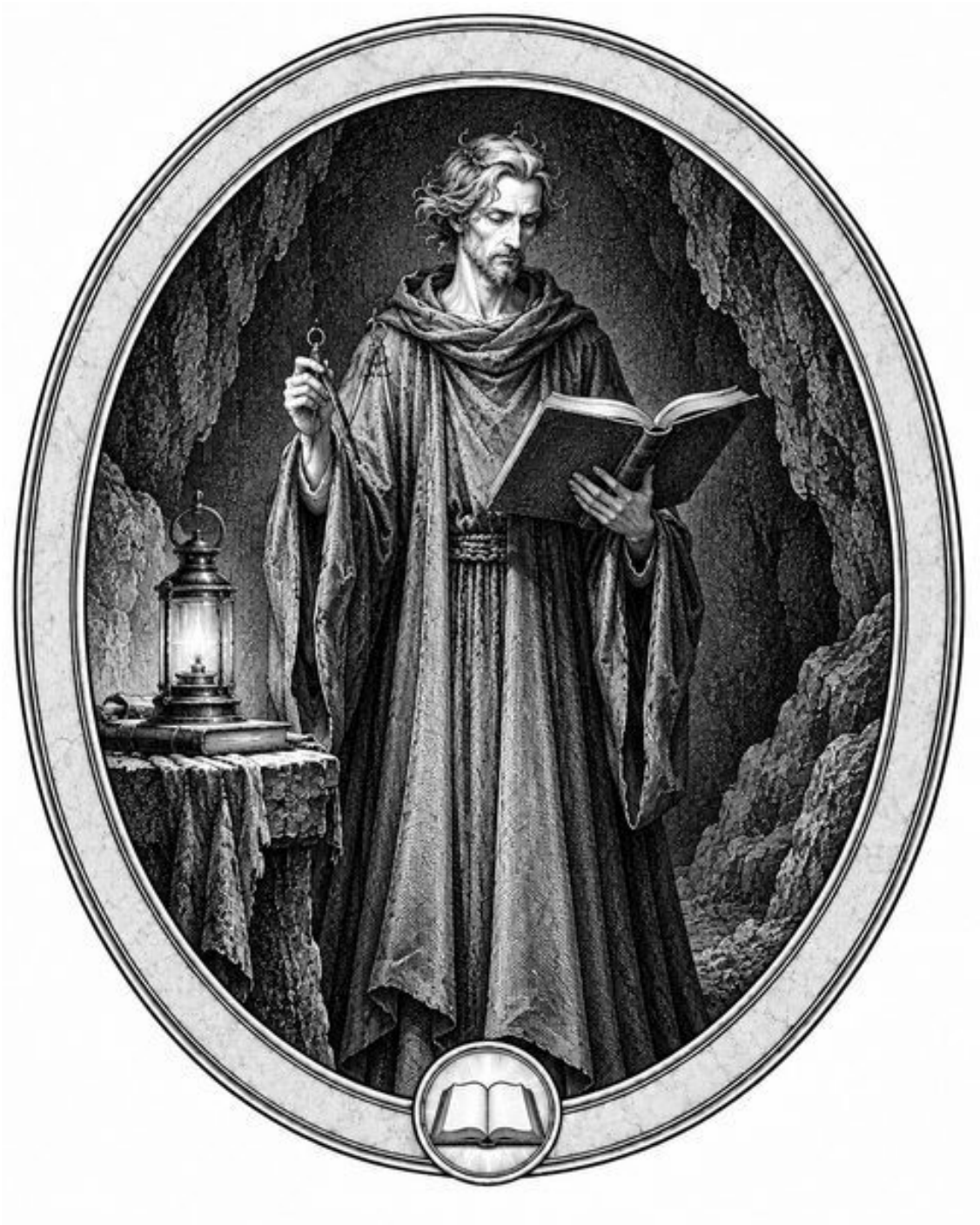
Грамнар
Земля · Основа
На нём держались материки



Ориан
Море · Течение
Знал, куда идти всякой воде



Астэр
Звёзды · Пространство
Расставлял звёзды и расстояния

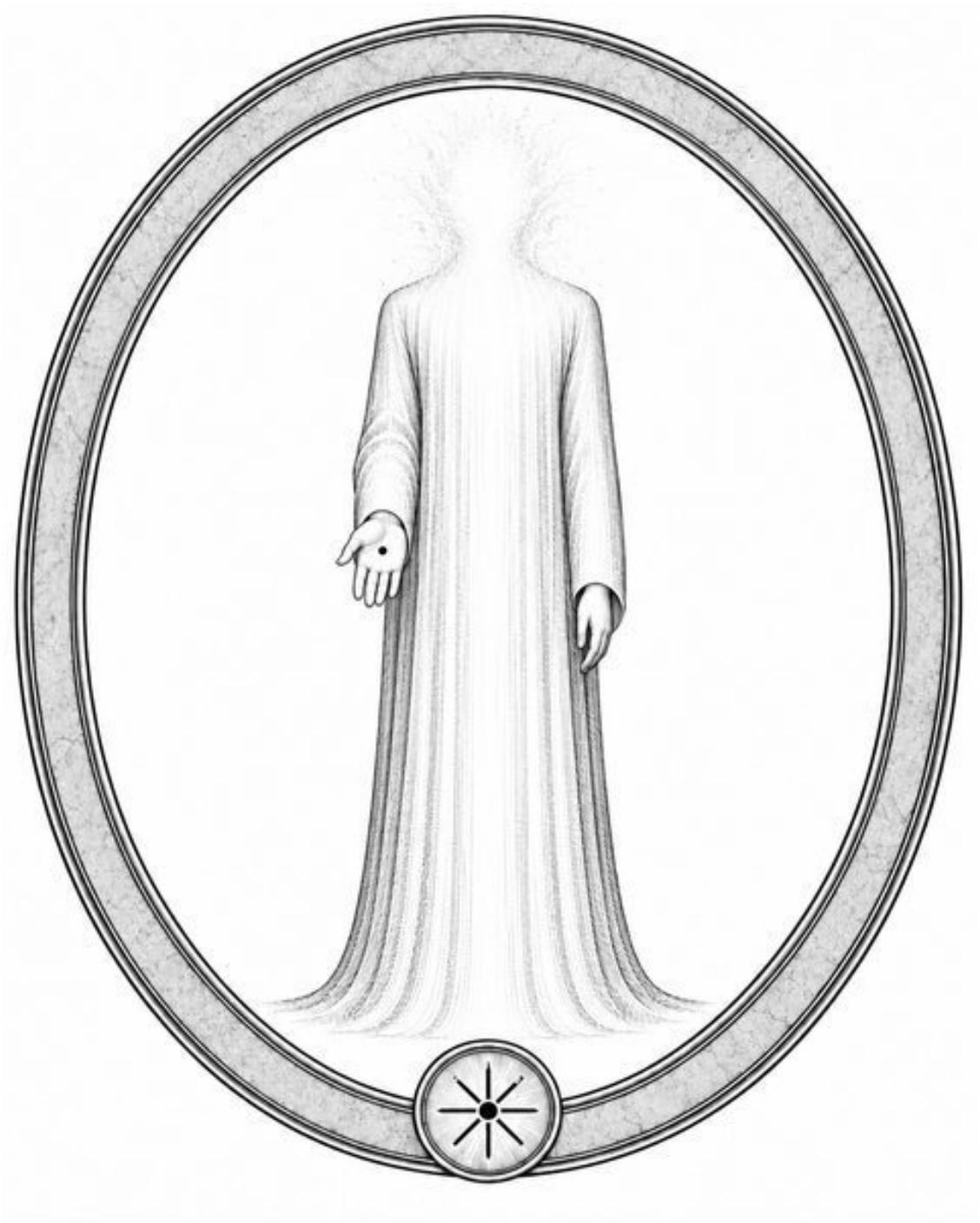


Иллен
Знание · Истина
Отвечал тому, кто правильно спросит



Морвен
Смерть · Переход
Ведёт мёртвых через реку

Последний из Девяти



Элиар
Солнце · Единство
Его свет видят все

Тот, кто был до них



Вааргут
Старый бог · Долг и Мера
Всему на свете есть мера

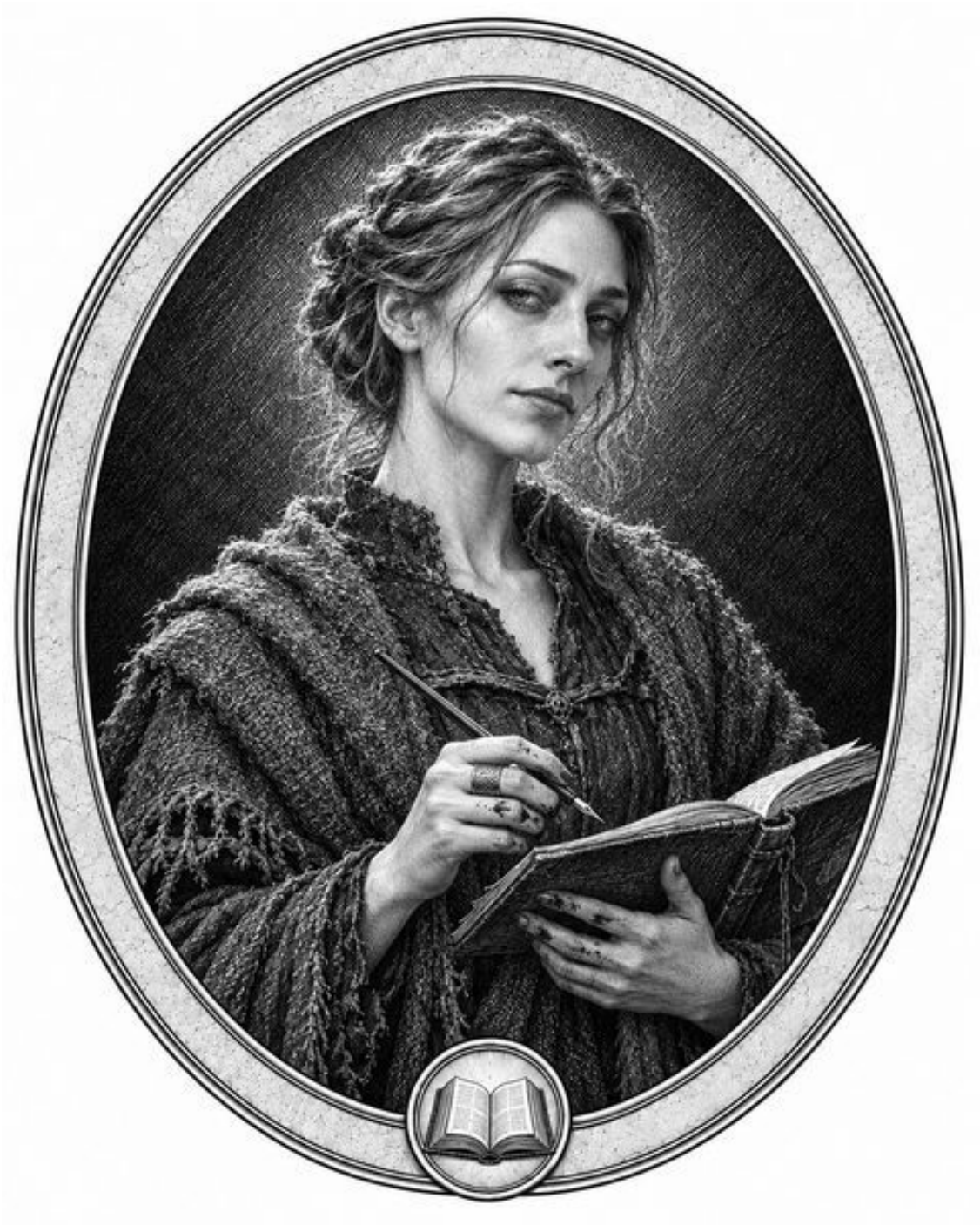
Действующие лица



Кассиан
послушник храма Перехода
Провожает мёртвых до порога



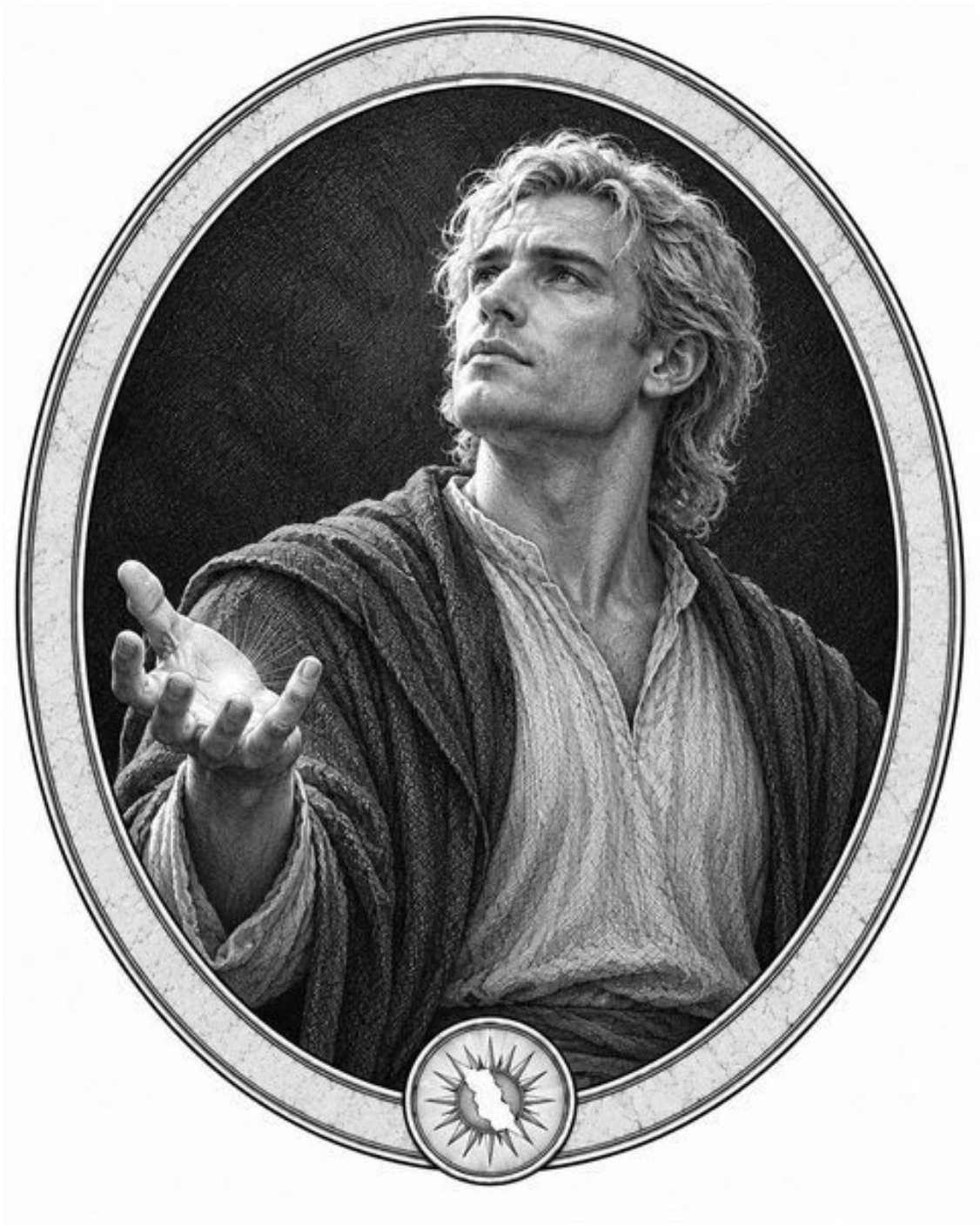
Лира
его младшая сестра
Научилась слышать, как растут её ногти



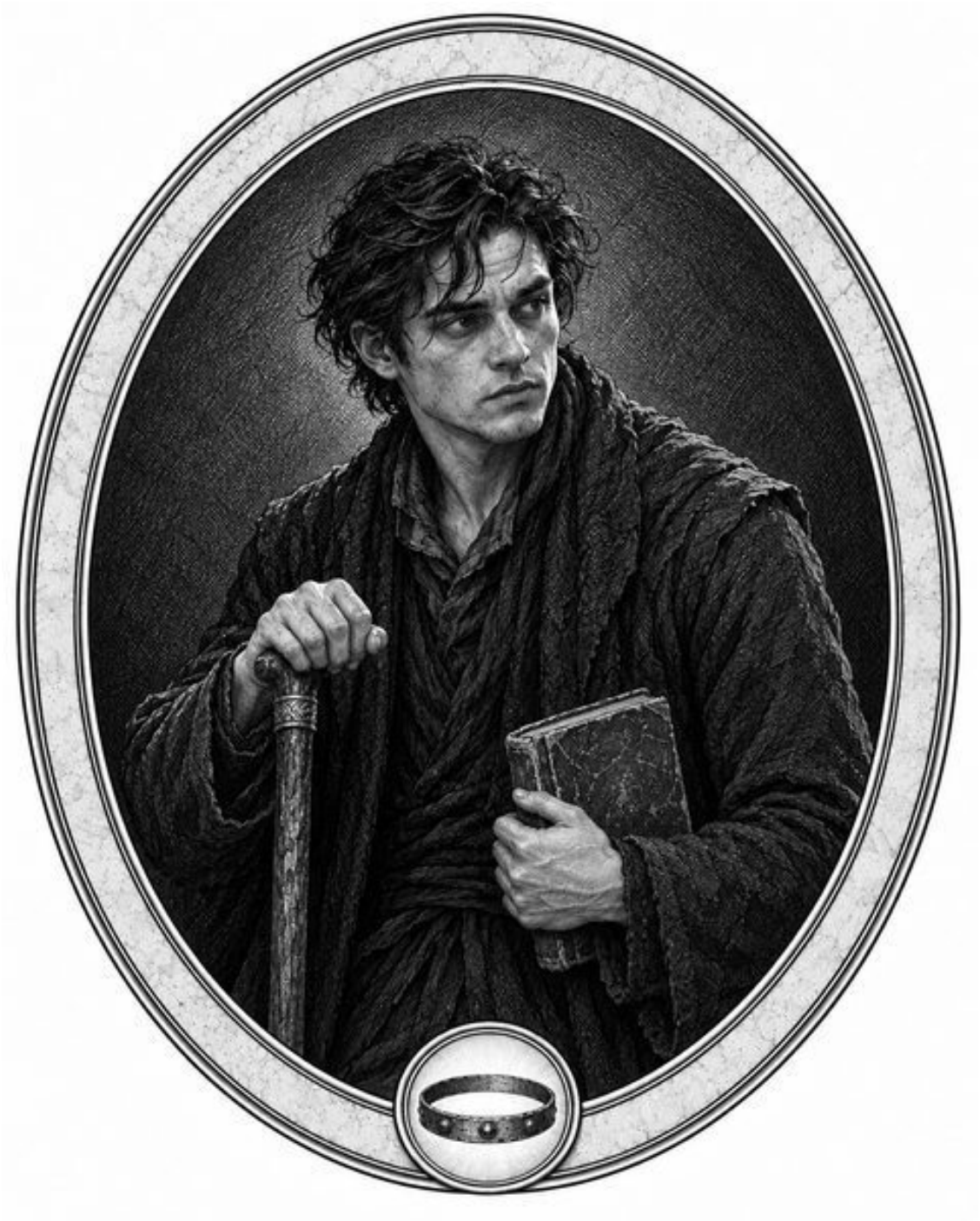
Ярина Соль
Сновидица, переписчица долгов
Толкует сны за медяк



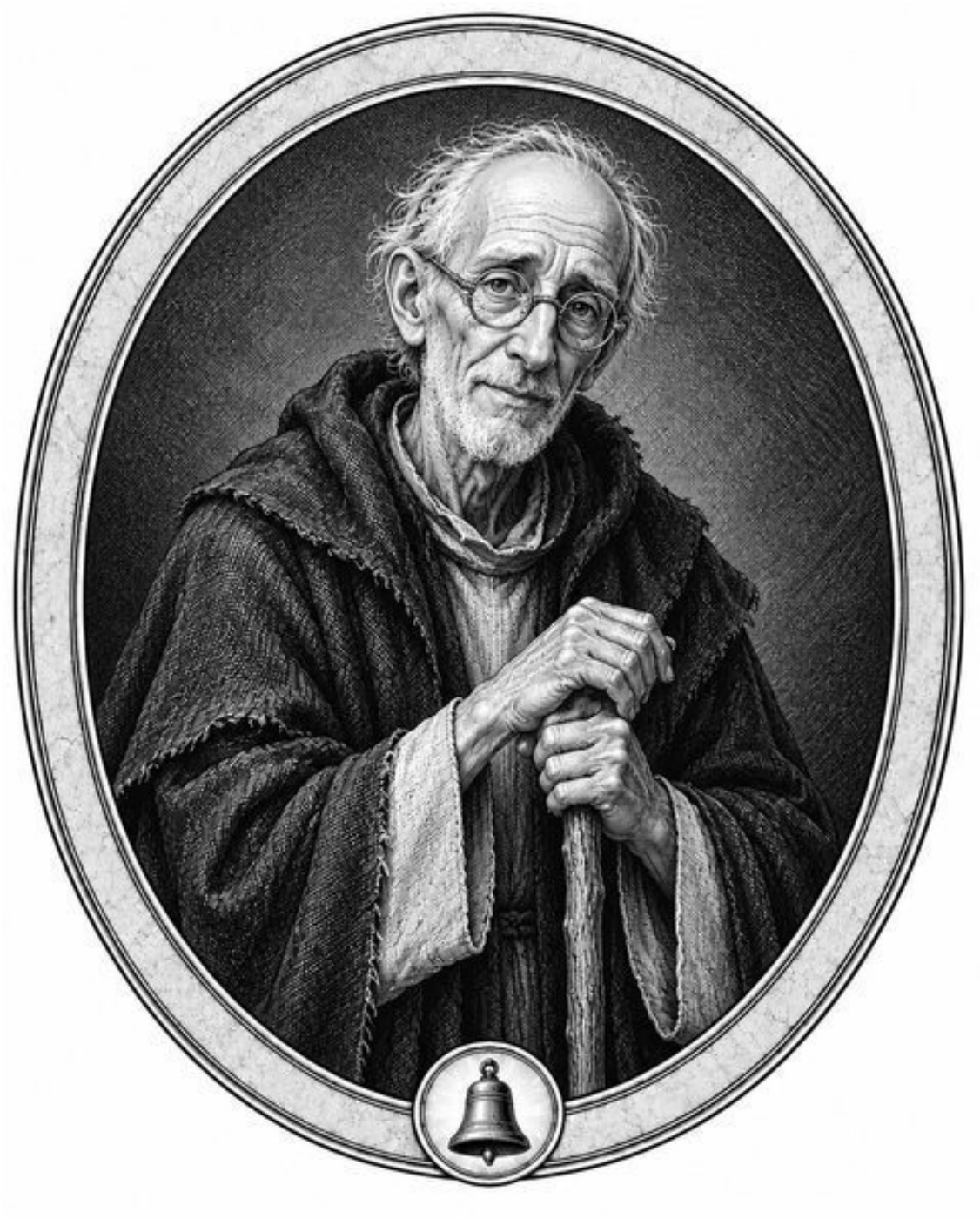
Рена Тарвес и Тур
капитанша «Верной» и её боцман
Смеётся громко, считает точно



Сэр Ильяс
бывший рыцарь Стражи Солнца
Учит людей вспоминать свои имена



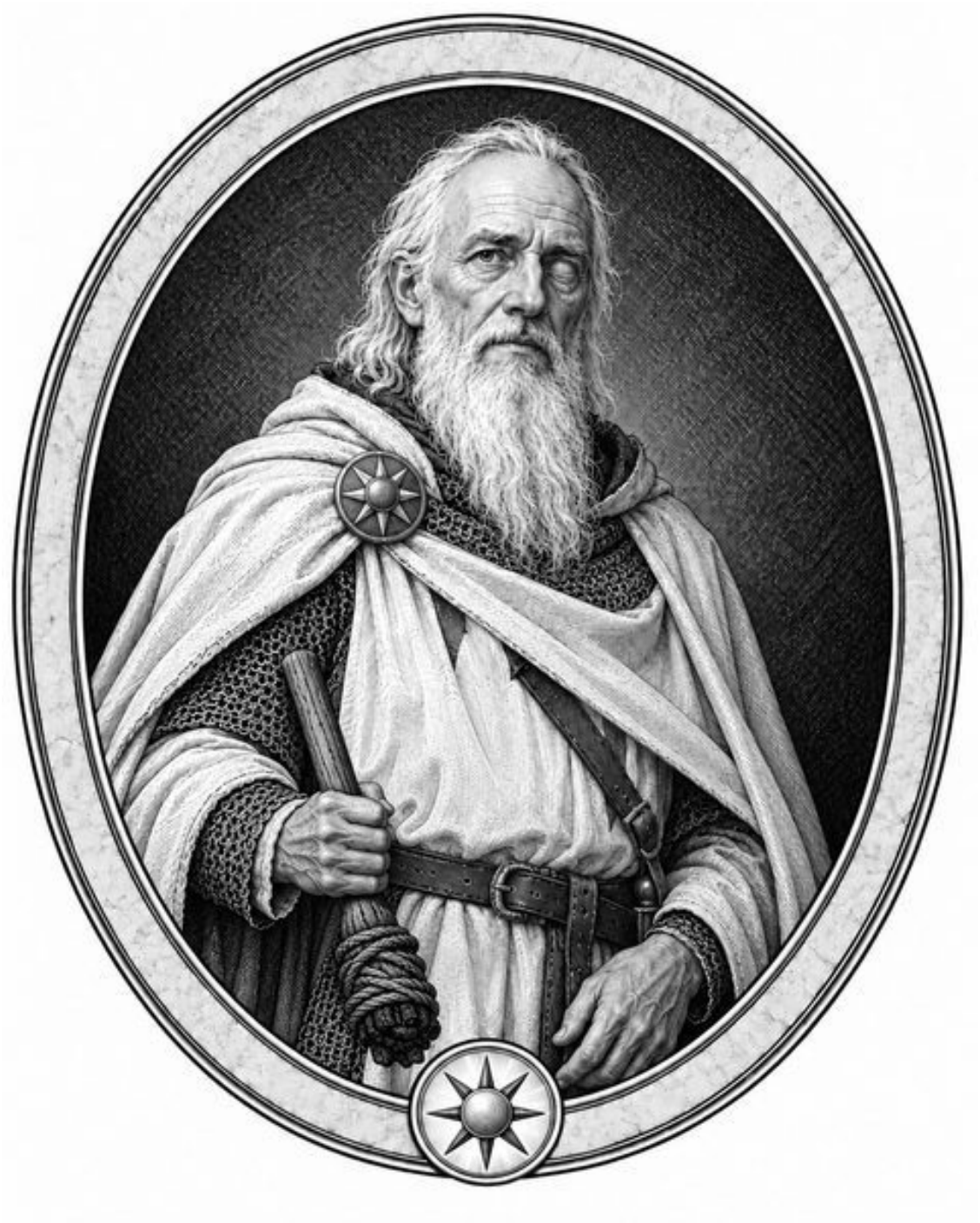
Дарен
наследник Кордара
Читает всё до последней строки



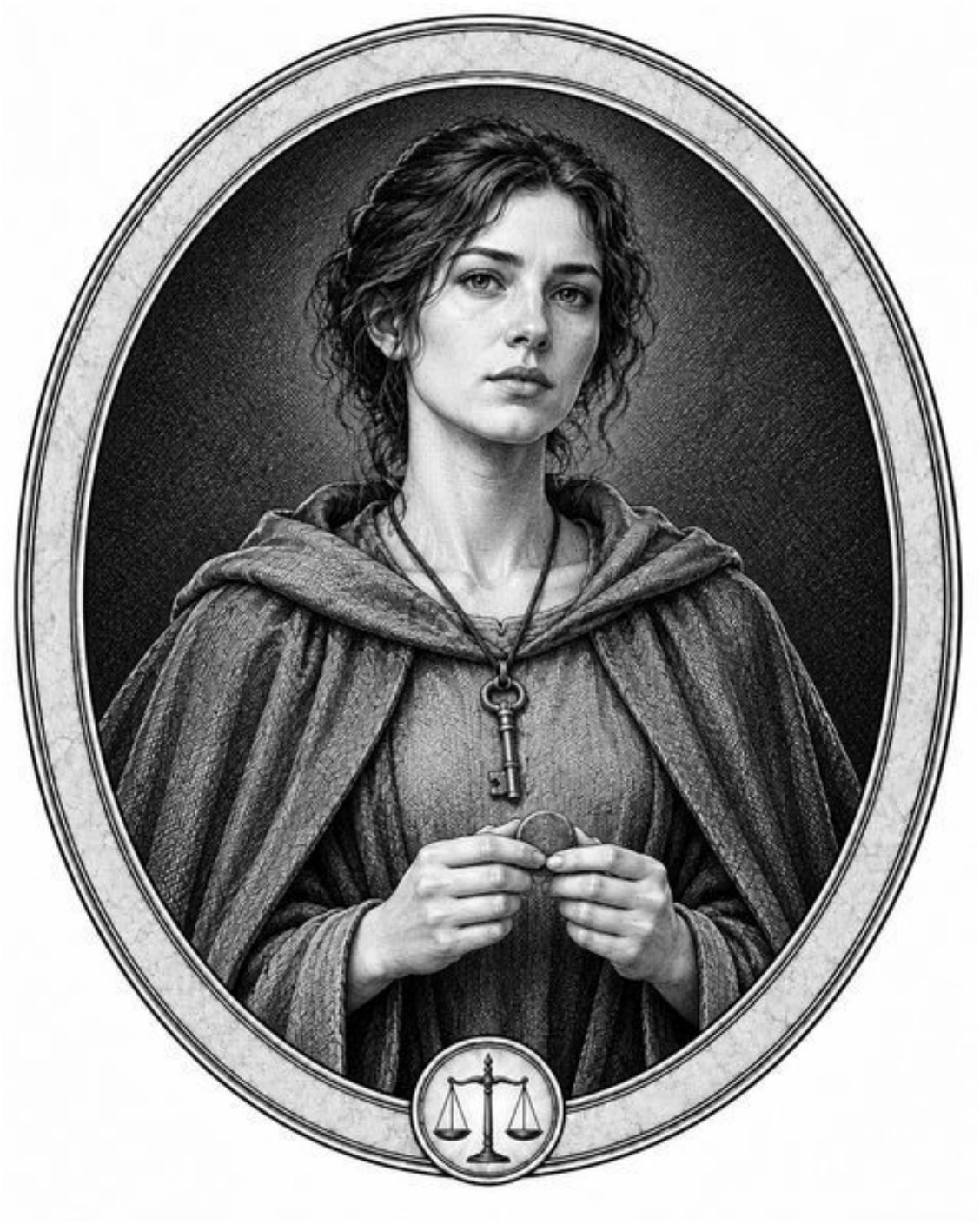
Отец Тальберт
маг Перехода, наставник Кассиана
Если заснёшь — пусть рядом будет вода



Корвин
брат государя, полководец на Тиессе
Пятнадцать лет держит фронт



Первый страж Маттиас
глава Стражи Солнца
Выйдет последним



Илисса Вандерграф
посланница дома Вандерграф
Красные костяшки — что есть, чёрные — что должна



Ама
слепая старуха из Ордиса
Слушает камень ладонями

Пролог
Гость

Лиэна. Круглый зал снов. Пятьсот лет назад.

В снах Элиара не было теней.

Лиэна заметила это не сразу: боги снятся друг другу редко, а когда снятся, то смотрят мимо, как соседи на лестнице. Снов у неё было много. Каждую ночь мир ложился спать, и каждую ночь она слышала его — весь, сразу, как слышат дождь по большой крыше. Круглый зал дышал. Под куполом, который был не из камня и не из воздуха, поднимались и опускались тысячи тысяч вдохов: рыбак у сетей, ребёнок с горячим лбом, старуха, которой снилась мать, солдат, которому снилась война, и другой солдат, которому снилась та же война с другого берега. Лиэна ходила между ними босиком. Она любила этот звук больше, чем любой храм.

Она умела выбирать лицо. Рыбаку она приходила рыбачкой, ребёнку — тёплой ладонью на лбу, солдату — женщиной, которая ждёт на пороге. Лица были настоящие: каждое она брала у того, кто спал, и возвращала, уходя. Своего у неё не было. Она давно не жалела об этом. Если у тебя нет одного лица, тебе есть куда войти.

Сон Элиара она нашла случайно — как находят в чужом доме комнату, где горит свет, хотя хозяева легли.

Там было светло. Ровно, от края до края, без источника. Свет стоял в его сне, как стоит вода в полной чаше, и в этом свете не было ничего: ни пола, ни стен, ни людей. Не было и теней. Лиэна долго стояла на пороге и не могла понять, что её тревожит, пока не поняла: в этом сне ничего не отбрасывало тени, потому что ничего, кроме света, там не было.

Сны бывают страшные. Сны бывают пустые. Но у каждого сна есть край — место, где он кончается и начинается другой. У его сна края не было.

Она ушла оттуда тихо и в ту ночь долго сидела под куполом, слушая, как дышат рыбаки.

* * *

Через сорок ночей ей приснилось своё.

Боги видят сны редко, и почти всегда это не сны. Лиэне снились весы. Старые, бронзовые, тёмные, на которых ничего не лежало. Чашки висели пустые — и всё равно одна медленно опускалась, будто кто-то невидимый клал на неё гирю за гирей, не торопясь. Стука не было. Был счёт. Ровный, бесконечный, без голоса.

Она проснулась — если богиня снов просыпается — и поняла, что видела не сон. Видела то, что когда-то было. Или будет. Под весами, глубоко, лежало что-то огромное и неподвижное, как гора под туманом, и оно не спало. Оно считало.

Все Девять знали, кого они когда-то заперли. Никто из Девяти не говорил об этом вслух.

Лиэна понимала, что одной ей этого не разобрать. Сон был слишком старый, слишком тяжёлый; символы ложились один на другой, как листы в книге, которую кто-то уронил в воду. Нужен был тот, кто знал старых богов в лицо. Тот, кто служил им раньше, чем Девять стали Девятью.

Таких было двое. Морвен молчал, уходил в свою реку и не любил вопросов. Элиар — светлый, ровный, спокойный, тот, кто первым сказал «хватит» и первым поднял руку — улыбался и всегда отвечал.

Она пошла к Элиару. Она знала, какие у него сны. Она пошла всё равно.

Потом, в последний миг, она поймёт, что это и была ловушка: не сон о весах, а то, что идти больше было не к кому.

* * *

— Покажи, — сказал он.

Он сидел против неё в её доме — в том месте, которое смертные называли бы садом, если бы видели. У смертных для него слов не было. Лиэна выбрала для гостя скамью под деревом, которое росло корнями вверх, и чашку с водой, в которой отражалось не небо, а чей-то сон о небе. Так в её доме встречали гостей. Она не знала, умеет ли он пить из таких чашек. Он не пил.

Лица у него не было.

Она видела его много раз, на советах, на войне, и всегда он был в свете, и свет был ему лицом. Здесь, у неё, где каждый приходил таким, каким себя помнил, он пришёл таким же: свет, ровный, тёплый, и внутри света ничего. Лиэна по привычке протянула ему лицо — простое, доброе, лицо пахаря из Тиресса, который в эту ночь видел во сне, как его дочь выходит замуж. Гость не взял.

— Мне не нужно, — сказал он мягко. — Говори так.

Голос был тёплый. Как вода, которую долго держали в ладонях.

— Словами не выйдет, — сказала Лиэна. — Сон старый. Он не ложится в слова. Его можно только увидеть.

— Тогда покажи.

Она медлила.

Она знала свой закон лучше, чем кто-либо знал свой. Она держала границу — между сном и явью, между твоим и моим, между одним «я» и другим. Пока она стояла на этой границе, каждый, кто спал, оставался собой, даже если ему снилось, что он — птица или ветер. Её дом был открыт для всех снов мира, но в её собственную голову не входил никто. Потому что граница держится, пока её держат, а того, кого ты впустил сама, граница больше не держит.

Она это знала. Она смотрела на ровный свет напротив и вспоминала сон без теней.

— Ты боишься меня, — сказал он. Не спросил.

— Я тебя не понимаю, — сказала Лиэна. — Это хуже.

— Это честно. — Свет чуть колыхнулся, как будто гость улыбнулся. — Я тоже не понимаю тебя. У тебя нет одного лица. Мне всегда казалось, что это опасно. Ты — дверь, а через дверь можно войти с любой стороны.

— Можно, — сказала она. — Поэтому я не впускаю.

— Тогда не впускай. — Он поставил нетронутую чашку на траву. — Я уйду. А ты останешься одна с тем, что считает под водой. Скажи мне только, что он делает.

— Считает.

— Что?

— Всё.

Свет помолчал.

— Я знаю, кто это, — сказал он. — Я служил ему. Я знаю, что он собирается делать, когда досчитает. Но я не знаю, когда. Это — у тебя в голове. Не у меня.

Это была правда. Лиэна слышала правду так же, как слышала дыхание спящих: правда дышит ровно. Его слова дышали ровно. Всё в нём было ровно.

Она подумала о рыбаке, о ребёнке с горячим лбом, о солдатах на двух берегах одной войны. О том, что будет с ними, когда счёт дойдёт до конца.

И открыла.

* * *

Он вошёл, как гость.

Сначала — осторожно, на порог. Она чувствовала его, как чувствуют руку на плече: тёплый, спокойный, внимательный. Он не трогал ничего. Он смотрел, куда она показывала: весы, пустые чашки, счёт без голоса, тяжесть под туманом. Она вела его по сну, как водят слепого по незнакомому дому, — здесь ступенька, здесь низкая притолока, — и он шёл за ней послушно и тихо.

— Вижу, — говорил он. — Да. Вижу.

Потом — ещё шаг. Он прошёл через сон о весах и оказался там, где не был никто. В ней.

Здесь тоже был круглый зал, только меньше, и вместо чужих вдохов в нём лежали её собственные: всё, что она помнила, всё, что видела в чужих снах за все века, тысячи лиц, которые она брала на ночь и возвращала. Они висели под куполом, как фонари на празднике.

Гость остановился.

— Как много, — сказал он. И в первый раз голос у него дышал не ровно.

Лиэна поняла в тот же миг. Не умом — кожей, как спящий понимает, что в комнате кто-то есть.

Свет больше не стоял на пороге. Он заполнял. Не торопясь, не ломая, — так заполняет комнату утро: сначала угол, потом стену, потом пол, и вот уже нет места, где была бы тень. Её лица под куполом бледнели одно за другим. Не гасли — светлели, теряли черты, становились ровными, одинаковыми, как свет. Рыбачка. Тёплая ладонь. Женщина на пороге. Все — одно.

Граница не держала. Она сама сняла её, своими руками, для гостя.

— Не бойся, — сказал он. Голос был тёплый, как плед, которым укрывают на ночь. — Так будет лучше. У тебя слишком много лиц. Им холодно поодиночке. Я соберу их. Я согрею.

Она хотела закричать — и поняла, что кричать некому. В её доме не было никого, кроме света. Она хотела закрыть дверь — двери больше не было. Она хотела выбрать лицо, своё, хоть одно, чтобы было за что держаться, — и все лица были одним, тёплым, без черт.

Тогда она сделала то единственное, что умела лучше всех в мире.

Она спряталась.

* * *

Не вся. Вся бы не уместилась.

Крошечный кусок — меньше сна, меньше вздоха, меньше той пылинки, что видит ребёнок в луче между ставнями. Последний свой край. Ту точку, где она ещё была Лиэной, а не светом. Она сжала её в себе, как сжимают в кулаке монету, когда грабят дом, — и стала искать, куда положить.

В её доме прятать было негде: дом горел ровным белым огнём. Во сны смертных — нельзя: туда он придёт следом, он теперь знал все двери. В землю, в воду, в небо — везде он найдёт, потому что он будет искать везде.

Не будет искать только в одном месте.

Там, где держит сам.

Свет стоял в ней, огромный и тёплый, и в середине его было то, чем он брал. Не рука — смертные сказали бы «рука», потому что у них нет другого слова. Ладонь. Раскрытая, широкая, тёплая. Та, что уже лежала на её последнем лице и вот-вот должна была сомкнуться.

У того, кто берёт, в собственной руке не ищут.

Она положила себя туда. Тихо. Как кладут подарок в ладонь спящему ребёнку, чтобы утром нашёл.

— Держи, — сказала Лиэна. Без голоса. Ему или себе — уже было всё равно. — Держи крепче. Ты же этого хотел.

Свет сомкнул руку.

* * *

По всему Эйрдану в ту ночь люди проснулись разом.

Рыбак у сетей сел и не понял, где он. Ребёнок с горячим лбом открыл глаза и позвал мать чужим голосом. Солдаты на двух берегах одной реки вскочили и долго смотрели через воду друг на друга, потому что на один миг каждый увидел свой дом глазами другого. Старухе, которой снилась мать, приснилась чужая мать, и она проплакала до утра, не зная о ком.

На один миг небо стало белым, без источника. Потом погасло.

Никто не знал, что это было. Хронисты записали: «В ту ночь все видели один сон». Какой — записать не смогли. Каждый помнил своё, и у каждого во сне был свет, и в свете — никого.

* * *

Пятьсот лет у света будет болеть ладонь.

Не сильно. Как заноза, которую не видно и не достать. Он будет держать в этой руке войны, храмы, державы и смерти семерых, и всякий раз, сжимая пальцы, он будет чувствовать маленькую холодную точку в самой середине. Он будет думать, что это след. Что это память о первом. Что это пройдёт.

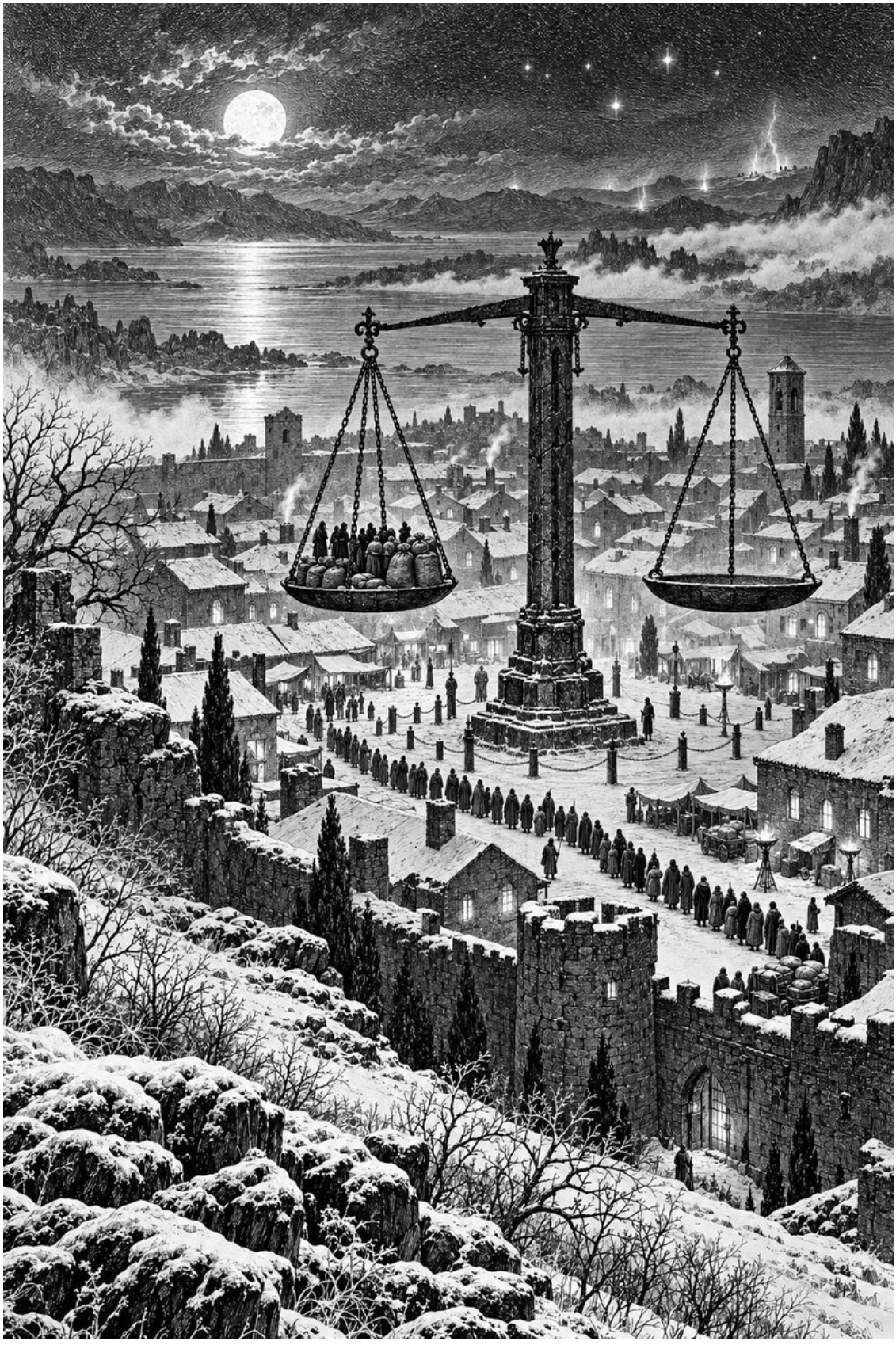
Оно не пройдёт.

Оно будет спать — как спят те, кто умеет ждать. Не считая. Не зовя. Просто лежать в тёплой ладони, свернувшись, как зерно под снегом, и помнить одно-единственное: что когда-то у неё было своё лицо, и что его у неё взяли в гостях.

И однажды кто-то, кому снится один и тот же сон, придёт и спросит, кто там, в ладони.

Тогда она ответит.

Часть первая
Мир без меры



Глава первая
Без пара



Кассиан. Лагерь Корвина, Восточная Марка. Зима, сто шестидесятый день после вспышки.

К седьмому дню в лагере Кассиан перестал подносить руки к огню.

Не потому, что привык. Потому что люди смотрели. Он садился у костра, как все, протягивал ладони к углям, как все, и все остальные через минуту начинали потирать пальцы, дуть на них, отодвигаться, а он сидел и держал руки над самым жаром, и ничего не происходило. Кожа не краснела. Пальцы не отходили. Снежинка, упавшая ему на тыльную сторону ладони, лежала там целая, шестиугольная, с тонкими лучами, — пока какой-нибудь солдат напротив не замечал её и не переставал жевать.

На седьмой день он сел к огню, сунул руки под мышки и так и сидел.

Лагерь просыпался тяжело, как просыпается всякий большой зимний лагерь. Над частоколом стоял дым — от землянок, от печей, от костров, — стоял ровно, столбами, потому что ветра не было. Снег между землянками был утоптан до желтизны. У ворот меняли караул. Где-то за кухнями кричал петух, которого никто не съел только потому, что он был последний, и его берегли, как берегут знамя.

Пахло хлебом.

Хлебом в лагере пахло всегда, с того утра, как женщина в платке разломила каравай и отдала половину Корвину. Пять тысяч сто человек из похода Солнечной веры пришли с возами хлеба, и хлеб этот надо было есть, пока не зачерствел, и печь новый, потому что муки в возах тоже было много. Печи вырыли в земле у южного края частокола, за кухнями: ямы, обложенные камнем с реки, своды из глины, трубы из ивовых прутьев, обмазанных той же глиной. Пекли бабы из похода. Пекли с рассвета до темноты, по очереди, и пели — не ту песню, которую пели, когда шли на Марку, а свои, деревенские, с неприличными словами, над которыми солдаты у печей ржали так, что сбегался караул.

Лира была там.

Кассиан знал это, не глядя, — так же, как раньше знал, где стоят мёртвые. Только теперь знание было другое. Раньше его тянуло к ним холодом, как сквозняком к открытой двери. Теперь его тянуло к сестре — тяжестью. Как тянет руку, в которой держишь ведро.

Он встал и пошёл к печам.

* * *

Она сидела на опрокинутом корыте у третьей печи, в чужом тулупе до пят, повязанная серым бабьим платком, и ела хлеб.

Ела, как едят дети, которые долго болели: сосредоточенно, обеими руками, отщипывая мякиш от середины и оставляя корку на потом. Рядом с ней на том же корыте сидела рыжая девочка из Ольховки, Агнешка, внучка старосты Вита, которая три недели назад сказала Дарену, что её дед ушёл по другой дороге и помахал. Агнешке было восемь. Лире — тринадцать. Они подружились в первый же день так, как дружат только дети и солдаты, — сразу и без вопросов.

— …а он ей говорит: «Ты, Гретка, тесто не мни, ты его уговаривай», — рассказывала Агнешка, — а она ему поварёшкой! По лбу! А поварёшка-то деревянная, и как треснет — пополам!

Лира засмеялась.

Кассиан остановился в трёх шагах.

Он слышал, как она смеётся, — в Нижнем Вельде, давно, до болезни. Смех у неё был отцовский: короткий, удивлённый, будто она сама не ожидала, что ей смешно. Он думал, что забыл его. Он не забыл. Он стоял в утоптанном снегу у земляной печи, в лагере мятежника, в Восточной Марке, где земля под ногами иногда лежала в двух местах сразу, и слушал, как его мёртвая сестра смеётся над поварёшкой, — и не мог пошевелиться.

Лира подняла голову.

— Касс, — сказала она. — Ты опять не ел.

Она говорила это каждое утро. Первые её слова на палубе «Верной» были эти, и с тех пор она говорила их, как говорят «доброе утро», — не спрашивая, ел он или нет. Знала.

— Ел, — сказал Кассиан.

— Врёшь.

— Вру, — согласился он.

Она протянула ему корку. Он взял.

Корка была тёплая — он видел, что тёплая: от неё шёл пар. Тонкий, белый, ленивый, как дымок над остывающей трубкой. Пар поднимался от корки, от горячего ещё мякиша, от Лириных губ, от Агнешкиных красных щёк, от баб у печей, от собаки, которая лежала у ямы с углями. Весь лагерь дышал паром.

Кассиан откусил. Хлеб был ржаной, с тмином, кислый, тугой, хороший. Он чувствовал вкус. Чувствовал корку на зубах. Не чувствовал, что она тёплая. Пальцы держали хлеб, как держали бы камень, нагретый на солнце: знали, что тёплый, и не верили.

Он выдохнул. Пара не было.

Агнешка смотрела на его рот.

— А почему у тебя не идёт? — спросила она.

— Что?

— Дым. Изо рта. У всех идёт, а у тебя нет.

Бабы у печи перестали петь. Не сразу — сначала одна сбилась, потом другая, и стало слышно, как трещит в яме огонь.

— Он холодный, — сказала Лира. Спокойно, отщипывая мякиш. — Он у воды долго стоял. Застыл.

— Как сосулька?

— Как сосулька.

Агнешка подумала.

— А сосульки тают, — сказала она.

— Эти — нет, — сказала Лира. И посмотрела на Кассиана снизу вверх, тёмными, отцовскими глазами, и в глазах у неё было что-то, чего он не понимал и боялся понять: не жалость. Счёт.

Бабы снова запели. Кассиан доел корку, не чувствуя её тепла, и пошёл к реке.

* * *

Отец Тальберт ждал его у проруби.

Это стало у них порядком с первого утра на «Верной», после того, как пошла вода: Тальберт брал его за запястье и считал. Считал вслух, медленно, шевеля губами, глядя не на Кассиана, а в сторону, на воду, — как считают ступени в темноте. Потом говорил число. Потом отпускал.

Здесь, в лагере, воды рядом было мало — только Сухая, под льдом, с чёрной полыньёй у берега, где солдаты брали воду. Тальберт приходил туда до света, садился на перевёрнутое ведро, клал палку поперёк колен и ждал. Очки у него запотевали, и он протирал их пальцем, не снимая, отчего они запотевали снова. Проволока на дужке заиндевела.

— Давай, — сказал он.

Кассиан протянул руку. Тальберт взял.

Пальцы у старика были сухие, тёплые, шершавые, как кора. Кассиан знал это так же, как знал, что тёплая корка: по виду. От Тальберта тоже шёл пар. На «Верной», перед светом, не было.

— Вы отогрелись, — сказал Кассиан.

— Я к Переходу подошёл и отступил, — сказал Тальберт. — На леднике тоже. Близко к двери холодно, мальчик. Потом отпускает. А ты глубже зашёл.

— Раз, — сказал Тальберт. — Два.

Они сидели долго. Над рекой светлело. Из полыньи тянуло сыростью и тиной. На том берегу, в редком березняке, стояла косуля и смотрела на них, не убегая, — может быть, потому, что от Кассиана не пахло, как пахнет от людей.

— Двадцать восемь, — сказал Тальберт наконец и отпустил.

— Вчера было двадцать девять.

— Вчера ты ел. — Старик сунул руки в рукава. — Живой. По-своему.

— По-своему — это как?

— Как сосулька, — сказал Тальберт. Значит, слышал уже — по лагерю такие вещи разносятся раньше, чем их договорят. — Сосулька тоже живая, мальчик. Растёт. Капает. Блестит. Только не греется.

Кассиан смотрел на полынью. Вода в ней стояла чёрная, тяжёлая, и по краю нарастала тонкая ледяная кромка — не от мороза. От него. Он сидел у полыньи третье утро, и третье утро кромка нарастала быстрее, чем у других прорубей. Солдаты заметили. Солдаты теперь брали воду ниже по течению.

— Они ушли, — сказал он.

Тальберт не спросил, кто. Он знал.

— Ушли, — сказал Кассиан. — Все. Я ночью выхожу к частоколу и слушаю. Раньше там стояли. У ворот — солдат Корвина, который угорел. У кухонь — та старуха из давки, Марта. Вилли Кох — у моей палатки, всё ждал, пока провожу. Я их слышал, как слышат, что в доме кто-то не спит. А теперь — тихо. Пусто. Как дом, из которого все уехали.

— Это хорошо.

— Знаю, что хорошо.

— Ты для того и выдыхал.

— Знаю. — Он сжал пальцы. Они не болели. Раньше холод в них болел, ломил, как ломит к оттепели старые кости. Теперь не болело ничего. — Я не нужен, отец Тальберт. Дверь открыта. Они идут сами. Им не нужно, чтобы кто-то держал за руку. Им нужна была дверь — а дверь я открыл. Всё. Послушник Перехода, который больше никого не провожает.

Тальберт долго протирал очки.

— Я сорок лет провожал, — сказал он. — Сорок лет — у постелей, у колодцев, у воды. И знаешь, сколько раз было, что меня ждали? Чтобы я пришёл и взял за руку? — Он надел очки. — Раз двадцать. За сорок лет. Остальные уходили сами, мальчик. Всегда. Я приходил, а они уже шли. Я просто стоял рядом. Чтобы живым было не так страшно смотреть.

Кассиан молчал.

— Это и есть ремесло, — сказал Тальберт. — Стоять рядом. Дверь тут ни при чём. Двери никогда не было нашей.

— А чьей?

Старик поднялся, опираясь на палку. Кости у него хрустнули, как ветки под снегом.

— Спроси у того, кто считает, — сказал он. — Ты ему теперь вроде как родня.

Он пошёл к лагерю. Потом остановился, не оборачиваясь.

— И ешь, — сказал он. — Двадцать восемь — мало. Сестра права.

* * *

Днём Кассиан писал матери.

Он писал уже третий раз. Первые два листа лежали у него за пазухой, сложенные вчетверо, исписанные с двух сторон и перечёркнутые. Бумагу ему дала Ярина — из лагерных запасов, плотную, серую. «Не трать на глупости», — сказала она. Он тратил.

Он сидел в землянке, которую им отвели — ему, Лире и Тальберту, — на нарах, на которых до них спали двое Корвиновых сержантов, и смотрел на чистый лист.

Мама.

Дальше не шло.

Что пишут матери, которая полгода назад положила дочь в землю в синем платье? Которая утюжила это платье всю ночь, — Лира говорила, что помнит запах горячего утюга, последний запах. Которая отдала ему деньги, отложенные на камень, и сказала одно слово: «Иди». Которая каждое утро ходит к столбику на склоне, на котором он сам вырезал ножом «ЛИРА», и стоит.

Мама. Лира жива.

Он смотрел на эти слова долго. Они были правдой. Они были такой правдой, от которой мать, прочитав, сядет на лавку в сенях и не встанет до вечера. Или встанет — и пойдёт пешком через весь Кордар, зимой, по снегу, в Марку, к мятежнику, не спросив ни у кого, как.

Он не знал, чего боится больше.

Она ест хлеб. Она смеётся. Она выросла — нет, не выросла, она такая же. Она

Он перечеркнул «выросла». Потом перечеркнул всё.

Лира вошла без стука, с мороза, в облаке пара, сбросила платок.

— Опять пишешь?

— Пишу.

Она села рядом на нары, заглянула в лист. Читать она умела, плохо — он сам учил её зимой, давно, по храмовой книге, водя её пальцем по строкам. Она сложила слова губами.

— «Мама. Лира жива», — прочитала она. — И всё?

— Я не знаю, что ещё.

— Напиши, что я тёплая.

Он посмотрел на неё.

— Мама спросит, — сказала Лира, — тёплая ли. Она всегда спрашивала. Когда я болела — трогала лоб. Потом — руки. Потом уже ничего не трогала. Напиши: тёплая.

Он написал. *Она тёплая.*

— И что ты её привезёшь, — сказала Лира. — Весной.

Перо остановилось.

— Лира…

— Весной, Касс. Я хочу домой. Я хочу к маме. Я хочу, чтобы яблоня скреблась. — Она смотрела на лист, не на него. — Ты думаешь, нельзя.

— Я не знаю, что можно.

— Ты боишься, что он позовёт, а ты будешь дома. И мама увидит, как ты уходишь.

Он ничего не сказал. Это была правда, и сказана она была так спокойно, как Лира раньше говорила, что у неё опять растут ногти.

— Он позовёт, — сказала Лира. — Всё равно позовёт. Хоть дома, хоть тут. — Она протянула руку ладонью вверх, и он увидел серое пятно в середине, круглое, с ноготь. — Он и сейчас считает. Тебя. Меня. Даже тут, в землянке. — Она чуть наклонила голову, прислушиваясь, как прислушиваются к соседям за стеной. — Ты знаешь, сколько ты не доел? С тех пор, как мы встали у воды?

— Нет.

— А он знает.

У Кассиана по спине пошёл холод — не свой, обычный, человеческий, тот, который он, оказывается, ещё мог чувствовать.

— Он тебе говорит?

— Он не говорит. Он считает. А я слышу. — Она сжала пальцы, закрывая пятно. — Как будто сидишь у мельника за стенкой, а он мешки пересчитывает. Вслух. Чтобы не сбиться. Не тебе. Себе.

— Что он ещё считает?

Лира помолчала.

— Всё, — сказала она. — Тут все кому-то должны, Касс. Корвин — тем, кто под Сухой грядой остался. Тот сержант, у которого мы нары взяли, — жене, он ей не пишет. Бабы у печки — мужикам, которых в походе схоронили, когда улыбались. Агнешка говорит, что деду должна. Она ему сказала «приду» и не пришла. Я её отдельно ещё не слушала. Он считает всех. Он даже Дарена считает. Дарен ему не должен, а он всё равно считает. Отдельно.

— Дарена?

— Отдельно, — повторила Лира. — На другую чашку.

Кассиан положил перо.

— Ты Ярине это говорила?

— Ярина записала, — сказала Лира. — На «Верной». Ей интересно. Ей всё интересно, что слышно. — Она подтолкнула лист к нему. — Пиши. «Весной привезу». Пиши, Касс. Ты обещал проводить. Проводи меня хотя бы домой.

Он написал: *Весной привезу*.

Потом долго сидел над подписью. В конце концов написал не «Кассиан» и не «твой сын», а так, как в детстве подписывал записки на столе, когда уходил в храм до света: *К.*

Лира засмеялась.

— Как у Ярины в книге, — сказала она. — «Под расписку».

* * *

Письмо он отнёс Дарену.

Дарена найти было нетрудно: где в лагере стояла самая длинная очередь из людей, которые хотели с кем-то поговорить, там был Дарен. Очередь тянулась от шатра Корвина — бывшего шатра Корвина: Корвин теперь спал в землянке с солдатами, а шатёр отдал «под совет», — и в ней стояли все. Сотники с бумагами. Бабы из похода, которые хотели домой. Деревенский староста с соседней заимки, который хотел, чтобы ему вернули сено. Двое братьев в белых плащах без солнц на груди, разбуженные под Маркой, которые не знали, чего хотят, и пришли спросить.

Дарен сидел за походным столом, хромая нога вытянута под стол, и читал. Каждую бумагу. До конца. Кассиан видел, как сотник, протянувший ему лист, переступает с ноги на ногу, пока Дарен водит пальцем по строкам, и думал: сотник принёс готовое решение, а государь проверяет его заново.

Он дождался.

— Кассиан. — Дарен поднял голову. Лицо у него было серое от бессонницы, но глаза — ясные. Колено, видно, болело. Он не скрывал. — Что?

— Письмо. Матери. В Нижний Вельд.

Дарен взял лист, не разворачивая. Подержал. Потом развернул — и Кассиан понял, что он прочтёт, и не стал возражать. Дарен читал всё.

Прочёл. Долго смотрел на подпись.

— Гонец пойдёт на запад через три дня, — сказал он. — С письмами в столицу. Нижний Вельд — крюк в два дня. Пойдёт.

— Спасибо.

— Это не подарок. — Дарен сложил лист. — Это опись. — И в первый раз за день почти улыбнулся.

Потом посмотрел мимо Кассиана, на вход в шатёр, и улыбка пропала.

* * *

В шатёр вошли трое.

Ульф — первым: Корвинов сотник, рыжеусый, весь в снегу, с инеем на ресницах; он ездил на запад, к Сухой переправе, смотреть дорогу. За ним — двое чужих. Мужчина лет сорока, крепкий, в добротном купеческом кафтане, порванном на плече, без шапки; и мальчишка лет двенадцати, похожий на него, как отражение в луже. Оба шатались. Оба были красные от мороза — и у обоих на лицах было одно и то же выражение, какое Кассиан видел раньше только у одного человека: у матроса на старом трёхмачтовом корабле в кольце Штиля, когда тот моргнул в первый раз за сорок лет.

Выражение того, кто не понимает, что с ним случилось, и уже понял, что не поймёт.

— С Гаванской дороги, государь, — сказал Ульф. — Подобрали у переправы. Шли пешком от самой Солёной. Говорят — оттуда ещё идут. Много.

— Садитесь, — сказал Дарен. Встал сам, уступая лавку, и поморщился от колена.

Мужчина сел. Мальчишка остался стоять, вцепившись в отцовский рукав.

— Как зовут? — спросил Дарен.

— Бакман, — сказал мужчина. — Йорг Бакман. Весы держу. Держал. На Рыбном торге, в Солёной Гавани. Гирями торговал и весами. Двенадцать лет.

Он засмеялся — коротко, страшно.

— Двенадцать лет, — повторил он. — Гирями.

— Что случилось в Гавани?

Бакман поднял на него глаза.

— Взвесили нас, государь, — сказал он. — Всех. В одну ночь.

* * *

Он рассказывал долго, сбиваясь, начиная с конца и возвращаясь к началу, и Дарен его не торопил, а Кассиан стоял у входа и слушал, и чем дальше слушал, тем холоднее ему становилось — тем холодом, который он, оказывается, ещё умел чувствовать.

Это было двадцать дней назад. Ночью. С моря пришёл туман — не такой, как всегда, не сырой, не солёный. Сухой, серый, тяжёлый, как дым над остывшим пепелищем. Он пришёл с юга, с открытой воды, и не стелился, как туманы стелются, а шёл. Стеной. Выше мачт, выше колокольни, выше скалы над гаванью. Медленно, как идёт по полю очень большой человек, когда ему некуда спешить.

Город не спал. Все вышли смотреть. Туман прошёл через Гавань с юга на север — за полночи, — и пока он шёл, никто не мог сдвинуться с места. Не то чтобы не могли: не хотели. Стояли и ждали. Как ждут на базаре, пока перевешивают.

А утром…

— Весы, — сказал Бакман. — У меня в лавке сорок весов. Больших, малых, аптекарских, для золота. Утром захожу — все стоят ровно. Все. Чашка в чашку. А на них ничего нет, государь. Пустые. И ровно. Я двенадцать лет весы выверяю, я знаю: пустые весы так не стоят.

Всегда хоть на волос, а клонит. А тут — ровно. Как будто их кто-то… — Он поискал слово и не нашёл. — Как будто кто-то по ним сверил.

— Сверил что?

— Всё, государь. Город.

Ростовщик Хоппе с Канатной улицы — у него в сундуках утром нашлись все долги. Всё, что ему были должны за тридцать лет, до последнего гроша, — лежало в сундуках, ровными столбиками. А у тех, кто был должен, из домов ушло ровно столько. У кого — деньги из кубышки, у кого — корова со двора, у кого — сеть, у кого — обручальное кольцо с пальца. Не взломано, не украдено. Просто — ушло. И у Хоппе в сундуке, рядом с деньгами, лежали и сеть, и кольцо. Кольцо было ещё тёплое.

Хоппе в то же утро наложил на себя руки.

— Почему? — спросил Дарен.

— А он тоже должен был, — сказал Бакман. — Брату. Тридцать лет назад брат ему денег дал, на первую лавку. Хоппе не вернул. Брат помер. Так у Хоппе ушло… — Он сглотнул. — Не деньги. У него с лица ушло. Он проснулся — а лица нет. То есть есть, а не его. Братнино. Он зеркало увидел — и в сарай.

В шатре было тихо. Мальчишка Бакмана держался за рукав и смотрел в пол.

— Клятвы, — сказал Бакман. — Это хуже долгов. Долг — его хоть понять можно. А клятвы… Матрос Ганзен в кабаке божился — «чтоб у меня руки отсохли, если я эту бочку крал». Он её крал. Утром руки — как ветки. Не болят. Просто — сухие. Вдова Леммер мужу на смертной постели обещала: никогда, ни за кого. А к ней сватался мельник, хороший мужик, она уже и согласилась — утром рот открыть не может. При мельнике. Только при мельнике. С остальными говорит. — Он вытер лицо рукавом. — Пацанам на улице, которые друг другу «век воли не видать» говорили, — им ничего. Не в счёт. Он, видно, разбирает, где всерьёз.

— Кто — он? — тихо спросил Дарен.

Бакман посмотрел на него, как на ребёнка.

— А вы не знаете, государь? — сказал он. — Туман-то. Он же говорил.

— Что говорил?

— Одно. Всю ночь. Не словами. А как будто каждый у себя в голове сам считает и сам вслух говорит. — Бакман закрыл глаза. — «Записано».

Кассиан прислонился к стойке шатра.

«Записано». Он слышал это слово. У столба, в сердце Штиля, над водой, которая стояла сорок лет. Когда он сказал «да» — при всех, вслух, — и Ярина поставила углём точку. Голос сказал: «Записано».

— А вы? — спросил Дарен. — Вы что-то были должны?

Бакман молчал долго.

Потом медленно разжал правую руку и положил её на стол ладонью вверх.

В середине ладони было пятно. Серое. Круглое. С ноготь. Как печать на бумаге, которую дают, когда берут в долг.

— Гирю, — сказал он. — Одну. Свинцовую. Фунтовую. Я её подпилил, двенадцать лет назад, когда только начинал. На волос. Чтобы на рыбе выгадывать. Двенадцать лет ею торговал. Всем городом торговал. — Он смотрел на свою ладонь. — Утром гиря лежала у меня на прилавке. Целая. Как новая. Без подпила. А тут — вот. Не болит. Не тёплое, не холодное. Я его тру — не стирается. А когда ночью тихо… — Он поднял глаза на Дарена. — Оно тяжелеет. Чуть-чуть. На волос. Как будто кто-то проверяет, на месте ли.

Кассиан смотрел на эту ладонь — и видел другую. Маленькую. Тёплую. С тем же пятном.

— Таких много? — спросил Дарен. — С пятном?

— Пол-Гавани, государь. Кто подпиливал, кто обвешивал, кто брал и не отдавал, кто клялся и не держал. Пол-Гавани ходит с кулаками. Друг другу руки не подаём. — Он сжал

ладонь. — Меня жена прогнала. Не за пятно. За гирю. Она двенадцать лет не знала. А теперь весь город про всех знает. По руке видно.

Мальчишка вдруг сказал — тонко, громко, первый раз:

— А у меня нету!

И выставил обе ладони — розовые, чистые, в цыпках. Бакман положил ему руку на голову.

— У него нету, — сказал он. — Ему двенадцать. Он ещё не успел.

* * *

Вечером Кассиан нашёл Лиру у печей.

Печи остывали. Бабы ушли, оставив угли тлеть под глиняными сводами. Агнешку забрала мать. Лира сидела на том же корыте одна и смотрела на север.

На севере, низко над частоколом, над чёрной кромкой березняка, стояла белая точка.

Её видели каждую ночь — с той ночи у Штиля, когда туман-гора ушёл через всё море. Она не двигалась вместе со звёздами. Звёзды теперь двигались неправильно, ползли по ночам, менялись местами, и солдаты Корвина, которые ходили по ним в дозоры, сбивались и злились; Ковш стоял боком, Рыбьего Глаза не было вовсе. А точка стояла. Белая. Ровная. Без лучей. Как прокол в чёрной ткани, через который светит что-то за ней.

Иногда вокруг неё вспыхивало. Беззвучно, широко, бледно, как зарница летом. Потом, через долгое время, доходил гром — глухой, низкий, без туч, будто где-то за краем мира двигали тяжёлую мебель.

Кассиан сел рядом.

— Ты слышала про Гавань, — сказал он.

— Весь лагерь слышал. — Лира не отвела глаз от точки. — Бакман показал руку у кухонь. Бабы потом на меня смотрели.

— Как?

— Как на Бакмана. — Она сжала кулак. — Одна сказала: «Взвешенная». Другая её локтем.

Взвешенная. Кассиан почувствовал, как это слово ложится в лагерь — тяжело, на волос, как гиря на чашку. Завтра его будут говорить все.

— Он это сделал, — сказал Кассиан. — В Гавани. Когда шёл на север.

— Он шёл мимо, — сказала Лира. — Он не нарочно. Он просто… — Она поискала слово. — Ты же, когда идёшь мимо мёртвых, ты их видишь? Даже если не хочешь?

— Вижу.

— А он, когда идёт мимо, — считает. Он не может не считать, Касс. Он так устроен. Он дольше, чем стоят горы, лежал под водой и считал вслепую, а теперь видит — и считает всё, что видит. Кто сколько должен. Кто что обещал. — Она помолчала. — Ему это… как тебе хлеб. Когда долго не ел.

Вокруг точки на севере вспыхнуло — широко, бледно. Кассиан ждал грома. Считал, сам не зная зачем, как считал Тальберт его пульс. На тридцать втором счёте пришёл гром.

— Он там, — сказала Лира. — Наверху. У того, кто светит. Они бьются.

— Ты слышишь?

— Слышу, как он считает. — Она наклонила голову. — Того. Наверху. «Должен». Ровно-ровно. Как капает. А тот — не слышно. Тот только светит.

— Кто побеждает?

Лира посмотрела на него — и он снова увидел в её глазах это: не страх, не жалость. Счёт.

— Никто, — сказала она. — Пока. Он говорит — пока.

— Он тебе говорит?

— Себе. — Она подняла руку, раскрыла ладонь к точке на севере, как будто грела её у огня. — Он всё говорит себе. А я слышу. Это как жить у мельника за стенкой, я же говорила.

Кассиан смотрел на её ладонь — маленькую, чистую, с серым пятном посередине — и думал о Бакмане. О его гире, подпиленной на волос двенадцать лет назад. О Хоппе, у которого ушло лицо. О вдове, которая не может открыть рот при мельнике.

И о себе.

Ты проведёшь. Однажды. Когда я позову. Кого я назову — туда, куда я скажу. Ты не откажешь.

— Лира, — сказал он. — А я? У меня пятна нет.

Она взяла его руку. Повернула ладонью вверх. Ладонь была белая, гладкая, без пятна. Пальцы — синеватые на кончиках. Снежинка, упавшая на запястье, лежала, не тая.

— У тебя нет, — сказала Лира. — Воду ты уже отдал. А за тем, что обещал, он ещё не пришёл.

— Чем?

Лира провела пальцем по его ладони, по линиям, как в детстве, когда гадала ему по руке и врала про невест.

— Он пока не требует, чтобы ты провёл. Он держит меня. — Она показала свою ладонь. — Вот его печать, Касс.

— А когда потребует?

— Когда позовёт. — Она сжала его руку в своих. — Тогда тебе идти.

Он хотел спросить: а ты? Твоё пятно — это что? Что ты взяла? Ты взяла жизнь — у кого? Но не спросил. Он знал, что она скажет. Она сказала бы: «Тебя, Касс». И это было бы правдой, и это было бы хуже всего.

Лира держала его руку в обеих своих. Тёрла, как трут замёрзшим детям, — ладонями, быстро, сильно. Дула на пальцы. От её дыхания шёл пар, белый, густой, ложился на его кожу — и не оставлял ничего.

— Не греются, — сказала она.

— Не греются.

— Ничего, — сказала Лира. — Я подержу.

Она держала. Кассиан смотрел на её руки на своих — тёплые, он видел, что тёплые: розовые, в муке под ногтями, с паром над ними, — и не чувствовал тепла. Совсем. Только вес. Маленький, ровный, живой вес её ладоней на своих.

Как гиря на чашке.

На севере вспыхнуло. Он не стал считать, сколько до грома.

Глава вторая
Покажите руки

Дарен. Лагерь Корвина, Восточная Марка. Сто шестьдесят третий — сто шестьдесят пятый дни.

Компас стоял на север.

Дарен смотрел на него каждую ночь, перед тем как лечь, — так другие перед сном смотрят на дверь, заперта ли. Компас Истины лежал на походном столе в шатре, рядом с молитвенником и чернильницей: из тусклого серо-белого металла, тяжёлый, с тонкой стрелкой под мутным стеклом. Северин держал его у себя «на хранение», и у Северина стрелка крутилась, не находя места. Дарен тогда думал, что компас сломан. Теперь Дарен подозревал: стрелка не могла выбрать направление в истории, которую учитель рассказывал о себе. За человеком скрывался свет без лица.

С той ночи у Штиля, когда учитель сгорел, как фонарь, в который перелили масла, — стрелка не крутилась. Стоило Дарену снова подумать об учителе — о том, кто говорил через него, — она стояла на север. Твёрдо, ровно, без дрожи. На белую точку над березняком.

Дарен не знал, что это значит. Он записал в молитвеннике: «Компас — на север. С той ночи». И ниже: «Спросить Варн». И ещё ниже, другим, ночным почерком: «Если правда там — какая?»

Ниже он ничего не написал. Молитвенник лежал открытый на странице, где месяц назад он вывел одно слово на поле: «Прочитано». Слово было ещё чёткое. Чернила хорошие.

* * *

На сто шестьдесят третий день начали съезжаться на совет.

Дарен разослал голубей сразу, как вернулся с моря, — всем, кто признал его, и всем, кто признал Корвина, и всем, кто не признал никого и ждал. Он знал, что зимой, по снегу, в мятежный лагерь у Непостоянных земель никто не поедет. Поехали.

Не все. Ласк прислал голубя: «Признаём. Приехать не можем: дороги». Брейде и Хольт, северные дома, — письмо на двоих, с двумя печатями: «Мы за Корвина. Корвин за вас. Значит, мы за вас. Чего ещё?» Остевин из столицы — длинное, ровное, канцлерское письмо на трёх листах, из которого Дарен понял одно: Каменный Трон держится, совет заседает, в городе тихо, тёплых на улицах больше, чем было, и «коронацию, государь, готовить ли к весне?».

Остальные приехали.

Граф Вейгель — старый, кривой на один глаз, Корвинов товарищ по Тирессу, с двумя сыновьями и полусотней всадников. Госпожа Ада Тосс — вдова, тридцати лет, глава дома Тосс после смерти мужа, в мужской шубе, с собственным мечом у седла и с собственным мнением, которое она высказала ещё у ворот, Хедде, и Хедде потом полдня ходил задумчивый. Наместник Озёрного, Лотар Кранц, — круглый, осторожный, в трёх шубах одна на другой, с двадцатью всадниками и походным сундуком, полным бумаг. Советник Якоб Зеллер из Аппеля — сухой, длинный, в перчатках, которые он ни разу не снял.

И ещё одна.

Ильзе Варн приехала на третий день, одна, на мохнатой крестьянской лошади, в крестьянском тулупе, и если бы не Ульф, который знал её в лицо, караул не пустил бы её дальше

ворот. Глава магов Истины. Та, что писала ему голубями из Старого крыла про кинжал без номера. Та, что ушла из столицы, когда магистр ушёл, — «пока он не вспомнил, что я есть».

Она слезла с лошади у шатра, отряхнула снег с плеч и протянула Дарену руку. Рука была холодная. Не как у Кассиана — по-человечески холодная, с мороза.

— Государь, — сказала она. — Я не опоздала?

— Вы приехали, — сказал Дарен. — Этого достаточно.

— Нет, — сказала Варн. — Мне — нет. Мне надо, чтобы меня спросили. При всех. Иначе зачем я ехала двенадцать дней на этой корове.

* * *

Перед советом он говорил с Корвином.

Корвин сидел в своей землянке, на нарах, с солдатами, и чинил сапог. Сам. Шилом, дратвой, зажав сапог между колен. Хромой, без плаща, с сединой в бороде, которая за эту зиму стала гуще. Дарен смотрел на его руки — широкие, рубленые, в старых шрамах — и думал, что эти руки полжизни водили армию, а сейчас шьют сапог, и шьют хорошо.

— Маттиас, — сказал Дарен. — Расскажи ещё раз. Для совета.

Корвин не поднял головы.

— Три дня стояли у переправы, — сказал он. — Они — на том берегу. Мы — на этом. Мост узкий, в одну телегу. Я сказал своим: не рубить. Они не шли. Стояли, светились. Ночью над ними было светло, как в полдень. Ортвин с Бертраном ходили на мост. До середины. Звали.

— По именам.

— По именам. Ортвин всех знает: полвека в оружейной, каждому кольчугу подгонял. Стоит на мосту и орёт: «Ганс Мельцер! Твоя мать в Ракитном коз доит! Она тебе носки вязала, ты их в оружейной забыл!» А с того берега — тишина. Улыбаются. Один, второй — нет-нет да шапку снимет, как будто вспомнил. Потом опять наденет.

— А потом?

— А потом была ночь. — Корвин затянул дратву. — Та самая. Ты знаешь какая. Где ты был — там сгорел твой магистр. А тут, у переправы, у них над головами свет… моргнул. Как свеча на сквозняке. Раз. И ещё раз. И пошёл гаснуть — не весь, пятнами. — Корвин помолчал. — И сорок человек сняли плащи. Сразу. Как будто проснулись в чужой постели. Один заплакал. Один пошёл через мост к нам, не глядя под ноги, и упал в полынью, — вытащили. Остальные стояли.

— А Маттиас?

— Маттиас стоял впереди. На коне. Старый. Белый. — Корвин наконец поднял голову. — Я его видел через мост, как тебя. Свет над ним моргал — а он не моргнул. Стоял. Потом развернул коня. И увёл своих. Тех, кто остался в плащах, — человек двести шестьдесят. Обратно, на запад, к Рассвету. Ни слова не сказал. Ни мне, ни своим, которые сняли плащи. Ортвин ему кричал — «Маттиас! Я тебя по имени знаю!» Он не обернулся.

— Ортвин говорил: выйдет последним, когда всех потеряет.

— Пока не всех. — Корвин воткнул шило в сапог. — Потерял сорок. Ушёл с двумястами шестьюдесятью. Что он там в Рассвете с ними делает — не знаю. Бертран говорит: молится. Ортвин говорит: хуже.

— Что хуже?

— Слушает, — сказал Корвин. — Ортвин говорит: Маттиас теперь слушает. И отвечает. А отвечать ему теперь некому, кроме того, наверху. Магистра-то нет.

Дарен постоял. Потом сказал то, ради чего пришёл:

— На совете я спрошу при всех про отца. Про кинжал.

Корвин посмотрел на него долго.

— Спрашивай, — сказал он. — Я пятнадцать лет молчал про гряду. Хватит молчать про брата.

* * *

Совет сидел в шатре, на лавках, вокруг двух сдвинутых походных столов. Было тесно. Было холодно: жаровни дымили и не грели. Ада Тосс сидела в шубе, Лотар Кранц — в двух из трёх, Якоб Зеллер — в перчатках.

Дарен вошёл последним, хромая, и все встали. Он подождал, пока сядут.

— Мы здесь, — сказал он, — потому что мой отец убит. Потому что армия стояла против армии, а провинции не знали, за кого. Потому что двадцать дней назад туман прошёл через Солёную Гавань, а в ночь вспышки весь свет мира стянулся в одну точку. Теперь она снова висит у нас над головой. — Он сел. — Я буду говорить коротко. Потом будете говорить вы. Сколько хотите. Я буду слушать. До конца.

Граф Вейгель хмыкнул в усы. Кранц полез за бумагами.

— Первое, — сказал Дарен. — Кто убил государя Альдрена.

Он не смотрел на Корвина. Он смотрел на Ильзе Варн.

Варн встала. Маленькая, сухая, в крестьянском тулупе, с руками, засунутыми в рукава. Она говорила ровно, по-канцелярски, как пишут донесения, — и от этого её слова было страшнее слушать, чем если бы она кричала.

Кинжал из груди государя. Армейский, кордарский, с клеймом мастерской Корвина. Такие выдавали офицерам, которые прошли Тиресс. У каждого такого кинжала на гарде выбит номер — номер мастерской и номер клинка. У кинжала из груди государя номера не было. Металл новый. Ковка хорошая. Сделан по образцу. Пятнадцать лет назад такой кинжал лежал у Корвина на столе, когда к нему приехал с письмом из столицы магистр Северин Алей. Магистр видел клинок. Корвин помнил тот приезд.

— Гвардеец, который ударил, — сказала Варн, — искренне верил, что выполняет приказ Корвина. Я проверяла его сама. Я — и двое моих. Его вера была чистая, как вода. Как родниковая. — Она помолчала. — Чистой веры у людей не бывает, господа. Бывает только у тех, кому её налили.

— Кто налил? — спросил граф Вейгель.

— Тот, у кого была чистая вода, — сказала Варн. — Тридцать лет при дворе. Не старел. Сгорел у Штиля, говорят, как фонарь.

— Говорят, — сказал Кранц.

— Я видел, — сказал Дарен. — Своими глазами. И ещё двенадцать человек. И архивистка из Ордиса записала. Хотите — она прочтёт.

Кранц замолчал.

Ада Тосс вдруг сказала, не вставая:

— Я знала магистра. Он приезжал к мужу. Говорил тепло. Муж после его приездов неделю был добрый. — Она смотрела в жаровню. — Потом муж умер. От горячки. Магистр прислал письмо — очень тёплое. Я плакала над ним два дня. А потом перечитала через месяц — и не поняла, над чем плакала. Там не было ничего. Одни слова. — Она подняла глаза на Дарена. — Я верю. Продолжайте.

Дарен кивнул. Он не ждал, что первой поверит она. Он записал это — в голове, не в молитвеннике: *Тосс. Перечитала через месяц.*

— Корвин, — сказал он. — Встань.

Корвин встал. Тяжело, на хромую ногу. Все смотрели на него. Ему было всё равно: он всю жизнь стоял под взглядами.

— Ты убивал моего отца? — спросил Дарен.

— Нет, — сказал Корвин.

— Ты хотел его смерти?

Корвин помолчал. В шатре было слышно, как трещат угли.

— Да, — сказал он. — Когда он подписал мир за моей спиной. С Вельсарой. Ценой Тиресса. Я хотел, чтобы он умер. Я так и сказал вслух, при своих. Один раз. Пьяный. — Он смотрел на Дарена, не на совет. — Мой брат. Я хотел, чтобы он умер, — и потом три дня не мог на себя смотреть.

Варн, стоявшая у жаровни, тихо сказала:

— Правда.

— Вы не можете знать, — сказал Кранц. — С тех пор, как… Истина плывёт. Все знают. Маги Истины сами говорят: после Иллена правда двоится.

— Двоится, — согласилась Варн. — Но не у него. — Она кивнула на Корвина. — У него — одна. Он грубый человек, господин наместник. У грубых людей правда не двоится. Ей негде.

Граф Вейгель засмеялся — громко, хрипло, хлопнул ладонью по столу.

— Сядь, Корвин, — сказал Дарен.

Корвин сел.

— Дом Вейгель, дом Тосс, дом Брейде и дом Хольт стояли за Корвина, — сказал Дарен. — Озёрный, Аппель, Ласк, дома Гримм и Остен — за меня. Я не прошу никого переходить. Я прошу всех сесть за один стол. Вот за этот. Мы уже сидим.

— А корона? — спросила Ада Тосс.

— Потом, — сказал Дарен.

— Когда — потом?

— Когда прочитаем, что под ней написано.

* * *

Они говорили до вечера.

Дарен слушал. Это было единственное, чему его научили по-настоящему: учитель научил — слушать до конца, не перебивая, чтобы человек сам сказал больше, чем хотел. Теперь Дарен знал, зачем учитель этому учил. Чтобы ученик слушал — его. Но умение осталось, и оно было его.

Граф Вейгель говорил про зерно: северу не хватит до весны, если Аппель не откроет склады. Кранц говорил про долги: казна должна Озёрному с прошлой осени, и Озёрный хотел бы знать, отдаст ли казна, если казна теперь — шатёр в лагере мятежника. Ада Тосс говорила про Стражу Солнца: у неё в землях три Солнечных дома, и в каждом теперь улыбаются одинаково, и крестьяне начали ходить туда по вечерам — греться, — и возвращаются тихие, и не помнят, о чём говорили. Хедде говорил про армию: три полка Корвина, один столичный, сабли, машины, раненые, — и что делать с пятью тысячами людей похода, которые хотят домой, когда дома у половины — Солнечные дома, где улыбаются.

Якоб Зеллер из Аппеля молчал.

Он молчал весь день. Сидел прямо, в перчатках, сложив руки на столе, и смотрел перед собой. Когда Вейгель спросил его про склады — ответил одним словом: «Откроем». Когда Кранц спросил, на чьей стороне Аппель, — тоже одним: «Государя». Когда Ада Тосс спросила, почему он не снимает перчаток в тепле, — не ответил вовсе.

Дарен смотрел на его руки.

Перчатки были хорошие, лайковые, тонкие. Пальцы в них лежали неподвижно. Правая рука — сжата в кулак.

Аппель стоял на Солёной дороге. В двух днях к северу от Гавани.

Дарен вспомнил Бакмана. Пол-Гавани ходит с кулаками.

— Советник Зеллер, — сказал он. — Туман прошёл через Аппель?

Зеллер не шевельнулся.

— Прошёл, государь.

— Расскажите.

— Нечего рассказывать.

— Тогда покажите руку.

В шатре стало тихо. Даже Вейгель перестал жевать ус.

Зеллер медленно, палец за пальцем, стянул правую перчатку. Положил руку на стол ладонью вверх.

Серое пятно. Круглое. С ноготь. Посередине.

— Что вы были должны? — спросил Дарен.

— Ничего, — сказал Зеллер. Голос у него был сухой, как бумага. — Я никому ничего не был должен, государь. Я честный человек. Шестнадцать лет в магистрате. Ни гроша не взял.

— Тогда что?

— Клятва. — Зеллер смотрел на свою ладонь. — Город Аппель клялся вашему пращуру. На верность. Ему и наследникам его, по прямой линии, сколько их ни будет. Двести лет назад. Клятву повторяет каждый советник, когда вступает в магистрат. Я повторял. Шестнадцать лет назад. Вслух. На ратушной площади. — Он поднял глаза. — Когда пришла весть, что ваш отец убит, а Корвин поднял полки, магистрат решал, за кого Аппель. Я сказал: за Корвина. Корвин сильнее. Корвин ближе. Наследник — скучный. Наследник не удержит. Я так сказал. Магистрат проголосовал за вас — с перевесом в один голос. Мой был против.

— И?

— И пришёл туман. — Зеллер сжал пальцы. — Утром я пришёл в магистрат. Хотел сказать: Аппель пересмотрит. Время другое, Корвин в Марке, наследник ушёл к Корвину, — надо решать заново. Я открыл рот. И сказал: «Государя». Я хотел сказать «пересмотрим». Я сказал «государя». Я хотел сказать «Корвина». Я сказал «государя». — Он засмеялся. Смех был страшный, как у Бакмана. — Я теперь только так и могу, господа. Про вас — только «государя». Сколько бы ни хотел. Двести лет назад мой предок, тоже Зеллер, поклялся. Шестнадцать лет назад я повторил. Не думая. Как «здравствуйте». А туман — разобрал. Где всерьёз.

Дарен смотрел на серое пятно.

Он понимал, что ему только что подарили. Аппель. Склады. Солёную дорогу. Голос, который не может сказать против. И не только Аппель — каждый город, через который прошёл туман, и каждого, кто когда-то, не думая, сказал вслух «на верность — ему и наследникам его». Туман шёл на север, через Кордар, через десятки городов. Сколько из них клялись его предкам? Сколько советников повторяли эту клятву, как «здравствуйте»?

Верность, которую держит туман. Ровная, тяжёлая, как гиря.

Ему стало холодно — не от жаровен.

— Советник Зеллер, — сказал он. — Я освобождаю вас от клятвы.

Зеллер посмотрел на него.

— Вы не можете, — сказал он.

— Попробую. — Дарен встал, опираясь на стол. Колено ударило болью, он не обратил внимания. — Я, Дарен, сын Альдрена, — говорю вслух, при свидетелях. Город Аппель мне ничего не должен. Советник Зеллер мне ничего не должен. Если Аппель хочет быть за меня — пусть решит сам. Заново. Голосованием. Если против — пусть будет против. — Он посмотрел на пятно. — Я не беру верности, которую держит туман.

Тишина.

Пятно не исчезло.

Зеллер смотрел на свою ладонь долго. Потом поднял голову и открыл рот — и Дарен видел, как он хочет сказать «Корвина». Видел, как дёрнулось горло.

— Государя, — сказал Зеллер. И закрыл лицо руками.

Варн у жаровни тихо сказала:

— Вы отказались от этой верности, государь. Но тот, кто взыскивает, вашего отказа не принял.

Дарен сел.

— Вааргут?

— Судя по печати, он, — сказала Варн. Она смотрела на ладонь Зеллера. — Клятва была вашему пращуру и его наследникам. Значит, и вам. Но записана — у него. Похоже, для него ваши слова пока ничего не изменили.

Граф Вейгель кашлянул.

— Значит, — сказал он медленно, — Аппель за вас. Хочет или нет.

— Значит, — сказал Дарен, — Аппель за меня, пока туман держит. А когда не будет держать — посмотрим, за кого Аппель. — Он обвёл глазами совет. — И это касается всех. Покажите руки.

Никто не шевельнулся.

— Прошу, — сказал Дарен. — Не приказываю. Я хочу знать, кто за этим столом сидит сам, а кто — потому что туман посадил.

Первым положил руки на стол Корвин. Ладонями вверх. Широкие, рубленые, со шрамами — и чистые.

— Гряда, — сказал он. — Я думал, будет пятно за гряду. Я обещал им, что за них спросят. Пятнадцать лет не спрашивал. — Он посмотрел на свои ладони с недоумением. — Чисто.

— Туман шёл не через Марку, — сказала Варн. — Он шёл через Гавань, Аппель, Солёную дорогу. На север. Тут — не взвешивали.

— Пока, — сказал Корвин.

За ним — Вейгель. Чисто. Ада Тосс — стянула рукавицы, бросила на стол: чисто. Хедде — чисто. Варн — вынула руки из рукавов: чисто. Кранц помедлил, потом снял все три пары перчаток — у него было три пары, как шубы, — и положил на стол пухлые розовые ладони. Чисто.

Все смотрели на Дарена.

Он положил руки на стол.

Правая — с чернильным пятном на среднем пальце, от пера. Левая — с мозолью от палки. Ладони — чистые.

— Ваш отец клялся деду, — сказал Кранц. — Вы — отцу. Наследник — по прямой. Должно быть пятно, государь. Вы должны больше всех.

— Значит, не должен, — сказал Дарен.

Он сказал это легко. Он не почувствовал этого легко. Он вспомнил: туман у Штиля, огромный, неподвижный, выше мачт. Голос «как весы сами». *Ты должен отцу, провинциям, тем, кого не прочитал. Это твои долги. Они — не мне. Твоя мера другая. И платить будешь не мне.*

Не мне.

Он убрал руки со стола.

* * *

Письмо пришло на сто шестьдесят пятый.

Его привёз мальчишка-посыльный в синей курточке, с серебряной чашей весов, вышитой на рукаве, — Дарен узнал курточку раньше, чем мальчишку: видел такие на Кормовой Скале. Мальчишка проскакал от устья Сухой на казённой лошади, которую ему дал Ульф, — полдня рысью по снегу, без остановки, — и стоял в шатре, синий от холода, с пакетом за пазухой.

— От госпожи Илиссы Вандерграф, — сказал он. — Государю в руки. Через господина Ланге. Господин Ланге стоит в устье, рядом с «Верной». Господин Ланге велел сказать: ответ ждёт.

Дарен взял пакет. Печать — серебряная чаша весов на синем воске. Под печатью, на сгибе, — маленькая, ровная, женская приписка: «И. В.». Та же рука, что на Кормовой Скале. Он помнил её почерк — и помнил её саму: синий плащ, лодку под скалой, тихий голос, который сказал, что её отца прошлой весной «согрел» белый брат — рукой на лоб, — и с тех пор он улыбается.

Он сломал печать.

Государь.

Пишу не на бумаге дома, а на своей. Читайте один.

Мой отец улыбается. Теперь улыбается весь совет домов, кроме меня и адмирала Ведекинда. С той ночи, когда у вас на юге горел свет, а потом погас, они улыбаются иначе. Раньше — каждый своё. Теперь — одно. Они говорят одними словами. Отец за ужином сказал: «Свет помнит всё» — и через стол от него старый Вилкен сказал то же самое, в тот же миг, тем же голосом. Они этого не заметили. Я заметила.

Вы понимаете, что это значит. Того, кто говорил при вашем дворе тридцать лет, больше нет. Тот, кто говорил через него, — остался. Ему теперь не нужен один человек. Ему нужны все, кто тёплый.

У дома есть вещь, о которой не пишут. Скажу только: она держит. Отец смотрит на неё каждый вечер и улыбается. Раньше он на неё не смотрел. Я боюсь того дня, когда он захочет её отдать — не мне, не вам.

Мир, о котором мы говорили под скалой, нужен мне больше, чем вам. Но не тот, который подпишет совет домов. Другой.

Встретимся на воде. Не на нашей земле и не на вашей. На Дороге. Она снова течёт; господин Ланге говорит — с той самой ночи. Она ничья. Она старше нас обоих. Через двадцать дней, у места, где Дорога выходит к вашему берегу. Господин Ланге знает где. Приходите один или с тем, кому верите больше, чем себе. Я приду с Ведекиндом.

Не отвечайте письмом. Письма читают. Скажите посыльному «да» или «нет».

И. В.

P. S. Бирку оставьте себе. Теперь можно не стирать солнце. Его больше никто не боится. Его просто слушают.

Дарен перечитал дважды. Потом третий раз — медленно, водя пальцем по строкам, как сотник водит, когда считает сено.

Она держит.

Он не знал, что держит. Знал только: на Кормовой Скале у причала стояли три военных корабля, а Илисса Вандерграф стёрла солнце со свинцовой бирки, чтобы он не испугался и не спросил магистра. Она тогда думала на шаг вперёд. Теперь — на два.

— Ответ? — спросил мальчишка в синей курточке. У него стучали зубы.

— Сядь к жаровне, — сказал Дарен. — Ответ будет утром.

* * *

Ночью он сидел над молитвенником.

Корвин пришёл без стука, сел на лавку, вытянул хромую ногу рядом с его хромой ногой. Они так и сидели — два хромых Кордара, дядя и племянник, — и смотрели на жаровню.

— Вельсарка? — спросил Корвин.

— Вельсарка.

— Чего хочет?

— Мира. Другого.

— Какого — другого?

— Не знаю. — Дарен закрыл молитвенник. — Она пишет: «Того, кто говорил тридцать лет, нет. Тот, кто говорил через него, остался». Пишет: весь совет домов улыбается одним голосом. Пишет: у дома есть вещь, которая держит. И боится, что её отдадут.

— Кому?

Дарен посмотрел вверх. Сквозь полог, сквозь ночь — на точку.

Корвин посмотрел туда же. Помолчал.

— Пойдёшь?

— Пойду.

— Один?

— «Один или с тем, кому верите больше, чем себе», — сказал Дарен.

Корвин хмыкнул.

— Мне не предлагай, — сказал он. — Я на воде блюю. И Вельсару вешал пятнадцать лет. Она меня в лодку не пустит.

— Я не тебе.

— А кому?

Дарен не ответил. Он думал. Кому он верит больше, чем себе? Отцу — отец мёртв, и отец подписывал не читая. Учителю — учитель был окном. Корвину — Корвин блюёт на воде. Варн — Варн верит только тому, что не двоится.

Он подумал про капитаншу. Про то, как она сказала у Штиля, при всех: «Нет. Мои семьдесят — не на весах». И бросила медяк в воду — «чтоб не даром». Про архивистку, которая записала: «Государь решил идти к весам. Цену выслушать до выдоха. Согласия пустить воду пока нет. Мы с Ильясом — против сделки. За поход к весам отвечает он», — и не подписала.

Рена знает воду. Ярина знает, где правда, а где слова.

— Утром скажу, — сказал Дарен.

Корвин поднялся, кряхтя.

— Хромой государь на чужой воде, — сказал он. — Отец бы не пошёл.

— Отец бы подождал.

— Ага. — Корвин остановился у полога. — А ты ждал двадцать восемь лет. Хватит. Иди. — И уже из темноты, снаружи: — Только читай там. Всё. Что она даст подписать. До последней строки.

Полог упал.

Дарен открыл молитвенник. Ниже «Если правда там — какая?» написал:

Илисса. Дорога. Через двадцать дней. «Она держит».

Зеллер — «государя». Не хочет — и говорит. Верность туманом.

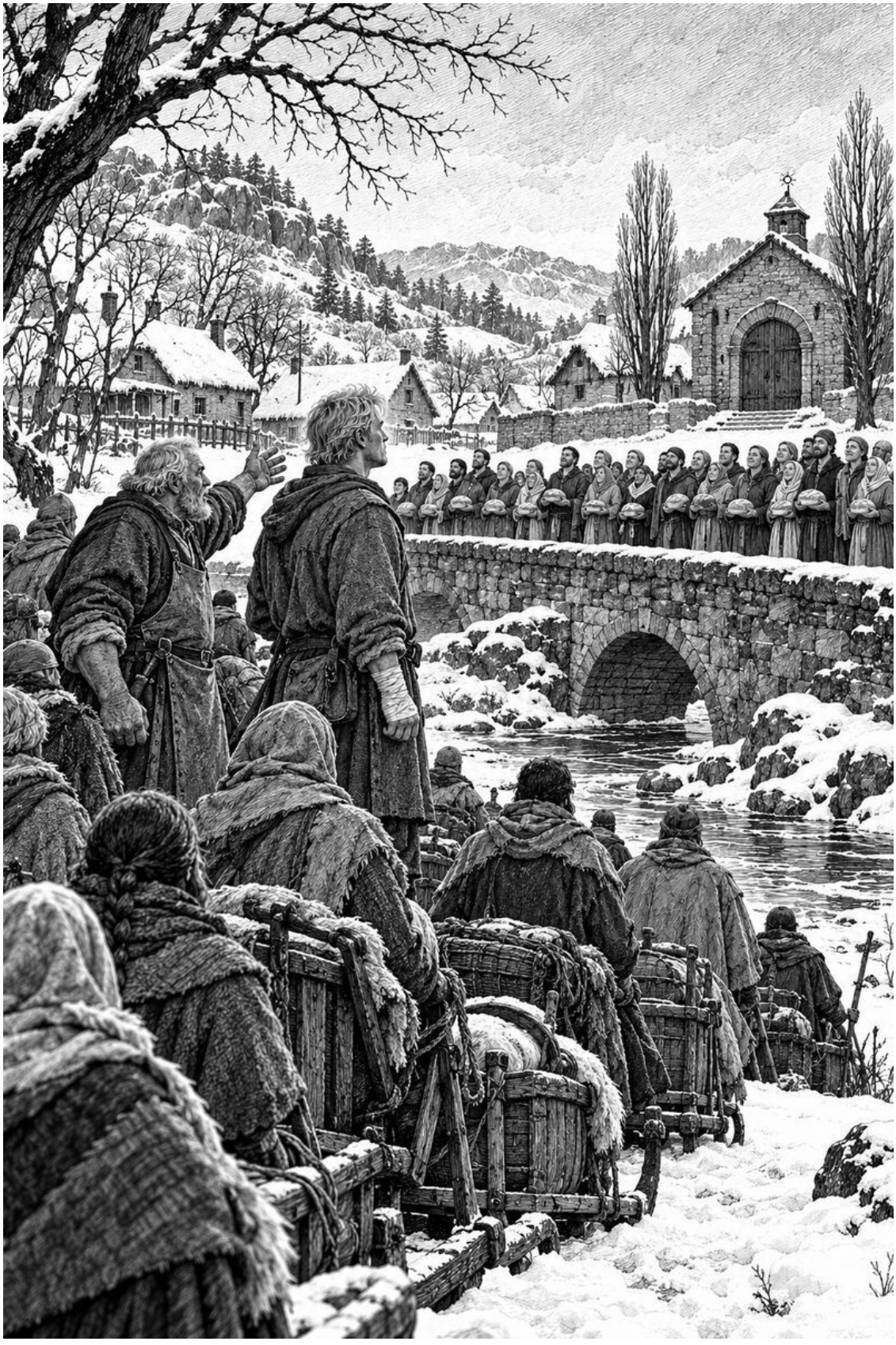
Мои руки — чистые. «Не мне».

Подумал. И приписал:

Кому?

Компас на столе стоял на север. Стрелка не дрожала.

Глава третья
Ракитное



Ильяс. Ракитное, западная дорога из Марки. Сто шестьдесят седьмой — сто шестьдесят восьмой дни.

Искра потеплела за версту до моста.

Ильяс почувствовал это сразу, хотя ждал другого. Он ждал холода. С той ночи у Штиля, когда в середину его мёртвой правой ладони упало что-то белое и ровное и осталось там, «как уголёк под половицей», рука по-прежнему ничего не чувствовала — ни снега, ни железа, ни чужого рукопожатия. Только искру. Искра жила сама по себе: ровная, тихая, тёплая ровно настолько, чтобы он знал, что она есть. По утрам он смотрел на ладонь и видел её — белую точку, меньше зерна, в самой середине, под кожей, как бывает видно уголь сквозь тонкий пепел.

А теперь, за версту до Ракитного, она стала теплее.

Не горячей. Просто — теплее. Как печь, к которой подходишь из сеней.

Он сжал руку в кулак — мёртвые пальцы сжимались, если им приказать, медленно, как чужие, — и сунул под плащ.

— Чего? — спросил Ортвин, ехавший рядом.

— Ничего.

— Ага, — сказал Ортвин. — Ничего. Ты, малый, двадцать лет назад так же говорил, когда кольчугу порвал и в сундук запихал. «Ничего, старшина». Я тебя по ушам. Помнишь?

— Помню.

— Ну вот. — Ортвин тронул коня. — Говори, что.

— Тепло, — сказал Ильяс. — Впереди.

Ортвин посмотрел вперёд. Дорога шла по белому полю, между двумя рядами голых ракит, к реке. За рекой, на низком холме, лежало село: дымы, крыши под снегом, колокольня Солнечного дома с золотым кругом на шпиле. Обычное село. Тихое. Дымы шли ровно, столбами.

— Ракитное, — сказал Ортвин. — Ну, понятно, что тепло. Там Солнечный дом. Там тепло всегда было.

— Не так.

Ортвин посмотрел на него долго. Потом обернулся в седле — назад, туда, где за ними по дороге тянулся обоз.

* * *

Обоз был длинный. Сани, розвальни, пешие. Триста двенадцать человек — Ильяс считал на выезде, у ворот лагеря, — из Ракитного и окрестных деревень, из тех, кто пришёл в Марку с походом Солнечной веры, с хлебом и факелами, и проснулся у частокола, когда Ортвин разбил солнечный камень. Нет. Когда Ильяс разбил. Колуном. Левой рукой. Ортвин только крикнул: «Держи как железо, малый».

Он до сих пор путался в этом. Ему всё казалось, что ударил кто-то другой.

Корвин отпускал людей похода домой по деревням — партиями, с охраной, пока стоял санный путь. Первыми — тех, кто ближе. Ракитное было ближе всех: три дня на запад по тракту, мимо Сухой переправы, — единственный мост на восток. Корвин дал десяток солдат и молодого Рольфа за старшего. Ортвин напросился сам — «у меня там полсела родни». Бертран — тоже сам, не сказав зачем. Брат Клеменс, запевала, с голосом-колокольчиком, который под Маркой будил своих братьев именами их сестёр, — он был из Ракитного родом, и шёл домой.

И Ильяс.

Ильяса не звали. Он сам пришёл к Корвину и сказал: «Я пойду». Корвин посмотрел на его правую руку, обмотанную тряпкой, и спросил: «Зачем?» Ильяс сказал: «Там Солнечный дом». Корвин сказал: «И что?» Ильяс сказал: «Я там служил. Восемь лет назад. Две недели. Читал им на вечерне». Корвин подумал и сказал: «Иди. Но если опять станешь светиться — Бертран тебя стукнет». Бертран, стоявший рядом, сказал: «Стукну».

Теперь Бертран ехал позади, на своём тяжёлом гнедом, в старом кожаном плаще, — другой его плащ, тоже кожаный, остался в Марке на плечах человека, который не помнил своего имени, — и молчал. Он вообще в эту зиму больше молчал, чем говорил. А когда говорил — смотрел на Ильяса прямо. Раньше не смотрел. Раньше боялся: он — окно, а через окно свет мог увидеть Ильяса. Теперь смотрел.

«Через меня смотрят в темноту, малый, — сказал он однажды, у костра. — А из темноты на меня никто не смотрит. Я проверял».

* * *

Их встретили у моста.

Ильяс видел их издалека: человек тридцать на том берегу, у въезда на мост, в шубах, в платках, с хлебом на полотенцах, — встречали, как встречают своих. Дети бежали впереди, по льду у берега, махали руками. Кто-то нёс корзину. Над ними, над селом, над колокольней с золотым кругом, стоял лёгкий парок — от дыхания, от печей, — и в морозном воздухе он был похож на нимб.

Обоз за спиной загудел. Бабы в санях привставали, вглядывались, ахали — узнавали. Кто-то закричал: «Марька! Марька, это я!» Кто-то заплакал.

Искра в ладони стала ещё теплее.

Ильяс натянул повод.

— Стой, — сказал он Рольфу.

Рольф, пятнадцатилетний, с первым пушком на губе, посмотрел на него, потом на Ортвина. Ортвин кивнул. Рольф поднял руку. Обоз встал — с ворчанием, со скрипом полозьев.

С того берега смотрели. Улыбались.

Ильяс смотрел на их лица и видел. Видел то, что видел у Марки в походе, под золотым куполом без теней, — и что видел до того двадцать с лишним лет, каждый день, в Рассвете, в строю, на вечерне, на своих братьях и на себе самом, и никогда не замечал: все улыбались одинаково.

Не похоже. Одинаково. Как будто одну улыбку вырезали из меди и раздали всем. Старик в волчьей шапке. Баба с хлебом. Мальчишка на льду. Девка в красном платке. Одна улыбка. Одна ширина. Один изгиб в углах губ.

— Ортвин, — сказал Ильяс тихо.

— Вижу, — сказал Ортвин. — Чтоб тебя. Вижу.

* * *

С того берега заговорили.

Не один человек. Все. Тридцать ртов открылись разом — старик, баба, мальчишка, девка в платке, — и сказали одно и то же, в один голос, без запинки, тем ровным, тёплым, мягким голосом, каким говорят с больными детьми:

— Вы пришли домой.

Обоз за спиной ахнул и замолчал.

— Вы устали, — сказали тридцать голосов. — Вам холодно. Идите. Мы ждали.

Это был не их голос. Ильяс знал этот голос. Он слышал его всю жизнь — не ушами. Под кожей. Как тепло от печи за спиной. Как плед, который кто-то накидывает тебе на плечи, когда ты задремал над книгой. Раньше этот голос был в одном человеке — в магистре Северине, — и через него, тонкой струйкой, расходился по тем, кто тёплый. Теперь человека не было. И голос не струился. Он стоял — везде, в каждом, ровно, — как стоит вода, когда её налили до краёв.

Ему теперь не нужен один человек.

Обоз тронулся.

Ильяс не давал приказа. Рольф не давал. Обоз тронулся сам — первые сани, вторые, бабы, слезающие с розвальней, пешие, — пошли к мосту, медленно, неуверенно, как идут на голос в тумане. Женщина в санях протягивала руки к девке в красном платке: «Марька…» Мальчишка лет десяти бежал по снегу к старику в волчьей шапке: «Деда!» Старик улыбался одной улыбкой со всеми и протягивал ему хлеб.

— Стоять! — заорал Ортвин.

Никто не встал.

Искра в ладони Ильяса горела. Не жгла — горела ровно, сильно, как уголь, на который дунули. Он чувствовал её сквозь мёртвую кожу, сквозь тряпку, сквозь плащ, — и чувствовал, как к ней тянется. Всё. Весь обоз. Весь тот берег. Как тянутся руки к печке, когда входишь с мороза.

К нему.

Он понял это не сразу. Бабы, идущие к мосту, — шли к мосту. Но головы у них поворачивались — на миг, на полвзгляда — к нему. К его правой руке под плащом. Как подсолнух поворачивается, сам не зная почему. И на том берегу — тридцать одинаковых улыбок, тридцать одинаковых лиц — тоже повернулись. К нему. На полвзгляда.

Он знал это чувство. Он знал его по Ордису — по ночи у сухого фонтана, когда поднял руку и держал всю площадь в тепле. Самое сильное, что он чувствовал в жизни. *Мог сказать что угодно — сделали бы.* А за его спиной в это время жгли архив и три дома, и люди сидели и смотрели, как горит, — потому что им было тепло.

Сейчас он мог. Он чувствовал это так же ясно, как раньше чувствовал меч в руке. Достаточно разжать кулак. Поднять ладонь. Искра — его. Тепло — его. Обоз остановится. Тот берег остановится. Они послушают его, а не того, наверху. Его тепло — против того тепла. Одно против одного.

Он сидел в седле, сжав мёртвую руку под плащом, и не разжимал.

— Малый, — сказал Бертран сзади. Тихо. — Не надо.

— Знаю.

— Ты же хочешь.

— Знаю, — сказал Ильяс. — Поэтому и не надо.

* * *

Он слез с коня. Пошёл к мосту — пешком, обгоняя сани, — и встал на въезде, на первых досках, между обозом и тем берегом.

Женщина, которая звала «Марька», дошла до него и остановилась. Не потому, что он её остановил. Потому что он стоял на дороге.

— Как тебя зовут? — спросил Ильяс.

Женщина смотрела мимо него, на девку в красном платке.

— Как тебя зовут? — повторил он.

— Пусти, — сказала женщина. — Там дочка.

— Как дочку зовут?

— Марька.

— Полностью.

— Мария, — сказала женщина. — Мария Хаас. — И моргнула. — А что?

— А тебя?

— Гертруда. Хаас. — Она смотрела на него теперь, а не мимо. — Ты чего, рыцарь? Ты чего меня держишь?

— Я не держу. — Он отступил на шаг, давая дорогу. — Иди. Только зови её. Полностью. Мария Хаас, дочь Гертруды. Что она любит. Что ты ей пекла. Как вы ругались. Не «дочка». Её.

Гертруда Хаас смотрела на него — и он видел, как по её лицу проходит то, что он видел под Маркой: как будто с плеч соскальзывает мокрый плащ. Она поняла. Не умом — кожей. Она месяц назад сама сидела под таким пледом.

Она повернулась к мосту.

— Марька! — закричала она. И сорвалась, и закричала снова, громче, злее: — Мария Хаас! Ты мне кадку новую обещала! Ты кадку разбила на осенней ярмарке, сказала — отец купит! Отец не купил! Ты где была, дура?! Я тебя в походе искала! Я тебя по всей Марке искала!

На том берегу девка в красном платке перестала улыбаться.

Не сразу. Улыбка поползла — с одного угла, как сползает с камня мокрый снег. Лицо стало растерянным. Испуганным. Своим.

— Мам?.. — сказала она. Своим голосом. Тонким, сиплым, деревенским.

И побежала через мост.

* * *

Дальше было трудно.

Ильяс потом не мог вспомнить, сколько это длилось. Час? Три? Солнце, зимнее, низкое, перешло с одного края моста на другой. Обоз стоял на этом берегу, село — на том, и между ними был мост в одну телегу, и по этому мосту ходили люди — по одному, по двое, — и звали.

Он не мог будить их сам. Он не знал их имён. Он знал только имена тех, кого будил под Маркой, — братьев Солнца, с которыми прожил двадцать с лишним лет. Здесь, в Ракитном, он не знал никого. Восемь лет назад он читал тут на вечерне две недели и видел их лица, ряд за рядом, одинаковые от тепла. Имён не спрашивал. Зачем? Свет знал их имена. Свету было достаточно.

Будили свои.

Ортвин стоял на середине моста, без шапки, с красной лысиной, и орал — как орал у Сухой переправы, на Маттиасовых рыцарей, — только теперь ему отвечали:

— Берта Мельцер! Берта! Где Ганс — я скажу! Я тебе всё скажу! Иди сюда! Он твои носки в оружейной забыл, синие, с красной полосой! Я их сберёг! Слышишь, Берта?! Я сберёг!

И старуха с ведром на том берегу — с одной улыбкой со всеми — вдруг уронила ведро.

Брат Клеменс шёл по мосту и пел. Не гимн — деревенскую, дурацкую, про козла, которого повели на ярмарку, а он вернулся сам и привёл соседскую козу. Пел своим колокольчиковым голосом, громко, на всю реку, и называл между куплетами имена — свою сестру Агату, что за мельником; её двойню, Яна и Яну, «лошадки, где мои лошадки», мельника Петера, соседа Хромого Ганса, соседку Хромого Ганса. И люди на том берегу вздрагивали, когда он называл их, — как вздрагивают во сне, когда тебя зовут по имени, — и улыбка сползала.

Не у всех.

У кого-то — нет. Ильяс видел: Клеменс называет имя, а человек стоит. Улыбается. Смотрит сквозь. Как брат Оттон под Маркой, подкидыш, у которого имени до света не было. *Не мучь. Его некуда будить. Он и так дома.*

Здесь таких было много. Больше, чем под Маркой.

Под Маркой люди были в походе две недели. Здесь, в Ракитном, тех, кто остался, свет держал всю зиму. А с той ночи у Штиля — без магистра, напрямую. Через Солнечный дом, через колокольню с золотым кругом, через вечерню, где тепло ложится на весь ряд сразу на строке «Ты видишь нас во тьме». Каждый вечер. Месяцами.

У кого-то за эти месяцы имя ушло — как у Онория. Сундук пуст.

* * *

Ближе к вечеру к мосту вышли из Солнечного дома.

Трое. Старший брат — Ансельм, Ильяс вспомнил имя, хотя восемь лет назад его не спрашивал, — старый, сухой, в белом плаще с золотым кругом; двое молодых послушников. Они шли от колокольни, медленно, по середине улицы, и люди на том берегу расступались перед ними — те, кто ещё улыбался. Разбуженные — не расступались. Стояли кучками у своих родных и смотрели, как на чужих.

Брат Ансельм остановился у въезда на мост. С той стороны.

Посмотрел на Ильяса.

Улыбнулся.

— Ильяска, — сказал он.

Ильяс не сразу понял. Мир не дрогнул, не потемнел. Просто кто-то взял его за горло изнутри, мягко, тёплой рукой, и держал.

— Ильяска, — повторил брат Ансельм. Голос был его — старческий, сухой. А интонация — нет. Интонация была девочкина. Тонкая. Сквозь слёзы. — Пусти.

Брен. Ночь. Камень посреди площади, лес уже лезет между домами. Ему семь. Вокруг него — круг света, ровный, на шаг, и за краем круга — темнота, и в темноте шевелится лес, который растёт, как растёт тесто в квашне, — и за краем круга, в темноте, стоит девочка в сером, с косой, тёмной с рыжиной, с руками по локоть в муке, и плачет, и колотит ладонями в свет, как в стекло, — и кричит: «Ильяска, пусти!»

А он не пускает. Он не умеет. Он сидит в круге, обхватив колени, и свет держит его, тёплый, ровный, как одеяло, и говорит: «Не бойся. Я здесь».

Маттиас нашёл его к полудню. Одного.

— Пусти, — сказал брат Ансельм её голосом. — Ильяска. Мне холодно.

Ильяс стоял на мосту. Колени у него стали ватные. Он чувствовал, как искра в ладони рвётся навстречу — как пёс на цепи рвётся к хозяину, — к теплу, к голосу, к тому, кто знал, кто помнил, кто был рядом тогда, в круге, двадцать четыре года назад, когда больше никого рядом не было. Свет спас его. Это была правда. Свет его спас. Свет его держал, когда лес съел Брен. Свет стоял между ним и темнотой — а Мила стояла по ту сторону, за светом.

Свет знал её голос. Он был там. Он слышал, как она кричит. Он запомнил.

Он двадцать четыре года снимал с меня память, как мокрую рубашку. И складывал. Себе.

— Ильяска, — сказали тридцать голосов на том берегу. Одним голосом. Её голосом. — Пусти. Иди домой. Тебя ждут.

Ильяс шагнул.

Рука легла ему на плечо. Тяжёлая, широкая, в кожаной перчатке.

— Как тебя зовут? — спросил Бертран.

Ильяс не ответил. Он смотрел на брата Ансельма.

Бертран развернул его к себе — грубо, рывком, как разворачивают пьяного, — и взял за подбородок, как ребёнка, и заставил смотреть на себя. Рыжая борода с проседью. Лицо — не добродушное, нет: злое, усталое, страшное. Глаза — прямо в глаза.

— Как тебя зовут, дурак?

— Ильяс.

— Откуда?

— Брен.

— Кто у тебя был в Брене?

— Мать. Пекла с тмином. Отец. Пах смолой. Собака. Рыжая.

— И?

— И Мила.

— Сколько ей было?

— Десять.

— Где она?

Ильяс молчал.

— Где она, малый?

— На том берегу, — сказал Ильяс. — На настоящем. За аркой. У реки. Кассиан видел.

— А это кто? — Бертран дёрнул головой назад, на брата Ансельма.

Ильяс посмотрел — через плечо Бертрана. На старика в белом плаще с золотым кругом. На улыбку. На глаза, в которых ничего не было, кроме тепла.

— Это не она, — сказал он.

— А кто?

— Тот, кто стоял между нами.

Бертран отпустил его подбородок.

— Ну вот, — сказал он. И, не оборачиваясь, громко, на всю реку, сказал брату Ансельму: — Слышал, ты? Не она. Голос взял — а её не взял. Её у тебя нет. Она там, где тебе не достать.

Брат Ансельм улыбался.

* * *

Потом улыбка изменилась.

Ильяс увидел это, потому что смотрел. Остальные — нет. Разбуженные были заняты своими. Ортвин — Бертой Мельцер, которая плакала у него на груди и колотила его кулаком в плечо. Клеменс — сестрой. Гертруда Хаас — Марькой.

Улыбка брата Ансельма не сползла. Она выпрямилась. Стала ровной, как линейка. Тёплой — и пустой. А голос, когда старик снова заговорил, не был ни его, ни Милиным. Это был голос без голоса. Как погода. Как полдень ночью на палубе «Верной», когда пропали тени.

— Ты держишь моё, — сказал он.

Ильяс сжал руку под плащом. Искра горела — ровно, сильно.

— Это упало, — сказал он.

— Это моё.

— Это упало, когда тот, снизу, тебя отбросил. Ты уронил. Я поднял. — Ильяс говорил медленно, как говорят с ребёнком или с больным. — Что упало — то не твоё.

— Верни.

— Нет.

Пауза. На том берегу люди, которые ещё улыбались, смотрели на него все разом — не на полвзгляда, а прямо. Тридцать, сорок, пятьдесят одинаковых лиц.

— Ты не удержишь, — сказал голос. — Ты слабый. Ты маленький. Ты всегда был маленький. Я держал тебя, когда ты был маленький.

— Держал, — сказал Ильяс. — Я помню. — Он разжал кулак под плащом. Медленно. Не вынимая руку. — Ты меня держал, а её — нет. Ты выбрал. Мне тогда было семь, я не знал, что ты выбираешь. Теперь знаю.

— Я спас тебя.

— Спас, — сказал Ильяс. — Спасибо.

Он сказал это просто, без насмешки, — и увидел, как на лице брата Ансельма что-то дрогнуло. Не улыбка. Что-то под ней. Как дрожит пламя свечи, когда открывают дверь.

— Спасибо, — повторил Ильяс. — И всё равно — нет.

Он повернулся к нему спиной и пошёл с моста.

* * *

К ночи в Ракитном было две деревни.

Одна — в домах. С огнём в печах, с плачем, с руганью, с запахом варёной репы и мокрой овчины. С людьми, которые сидели за столами и смотрели друг на друга так, будто видели в первый раз, и спрашивали: «А ты где был?», «А корова?», «А дед?». Сто девяносто шесть разбуженных — Ортвин посчитал, ходя по дворам с фонарём, — и триста двенадцать вернувшихся из похода.

Другая — в Солнечном доме. Тех, кого не разбудили, — человек сто сорок. Они ушли туда сами, на вечерню, ровным строем, с одной улыбкой на всех, — и закрыли за собой ворота. Из-за стены доносилось пение. «Ты видишь нас во тьме, и тьма не тьма». Над колокольней стоял тёплый парок, и в морозной ночи он светился.

Рольф хотел выломать ворота. Ортвин сказал: «Не трожь». Рольф спросил: «Почему?» Ортвин сказал: «Потому что мы их не разбудим, а только напугаем. А напуганных он греет лучше всех».

Бертран сказал: «Утром попробуем ещё».

Клеменс сказал: «Там мой учитель. Брат Ансельм. Он меня читать учил». И заплакал.

* * *

Ночью Ильяс сидел на крыльце дома Хаасов, куда их пустили на постой, и смотрел на свою ладонь.

Он размотал тряпку. Рука лежала на колене — белая, мёртвая, с синеватыми ногтями. В середине ладони, под кожей, светилась искра. Слабее, чем днём. Ровнее. Как уголь, который присыпали золой на ночь.

Он чувствовал, как от неё тянется. Тонко, едва-едва, как паутинка, — через двор, через улицу, к Солнечному дому, к колокольне, к ста сорока, которые пели за стеной. И дальше. Выше. На север. К белой точке над лесом.

Искра знала, откуда она упала.

— Не окно? — спросил он вслух.

— Не окно, — сказал Бертран.

Он стоял у калитки — Ильяс не слышал, как он подошёл. Бертран умел ходить тихо, когда хотел. Он подошёл, сел рядом на ступеньку, тяжело, кряхтя, и посмотрел на ладонь.

— Тальберт проверял, — сказал Бертран. — Я тоже проверял, ещё на «Верной». Я окно, малый, я знаю, как окно чувствуется. Через окно — смотрят. А тут — нет. Тут — держат.

— Кто держит?

— Ты, — сказал Бертран. — Ты держишь кусок его. А он держит тебя за этот кусок. Как за верёвку. И тянет.

— Я чувствую.

— Знаю, что чувствуешь. Я видел, как ты на мосту стоял. — Бертран помолчал. — Ты мог. Сегодня. Поднять руку — и все бы твои были. Весь тот берег. Как в Ордисе.

— Мог.

— Почему не стал?

Ильяс смотрел на искру.

— Потому что в Ордисе я держал, а за спиной горело, — сказал он. — Я не видел. Мне было тепло. Им было тепло. Все сидели и смотрели, как горит. — Он сжал пальцы, и свет искры пробился между ними, тонкими белыми лучиками. — Если я подниму руку — это будет то же самое. Только тепло будет моё. Они пойдут за мной, потому что тепло. Не потому что я прав. Не потому что их зовут по имени. Потому что тепло.

— А если бы ты был прав?

— Он тоже думает, что прав. Всегда. — Ильяс разжал пальцы. — Он меня спас, Бертран. Он правда меня спас. В Брене. Я сегодня ему сказал «спасибо». Я не врал.

— Знаю.

— И что мне с этим делать?

Бертран долго не отвечал. Над колокольней Солнечного дома светился парок. Пение за стеной стихло. На севере, над лесом, вспыхнуло — широко, бледно, беззвучно. Ильяс считал. На двадцать шестом счёте дошёл гром.

— Ничего, — сказал Бертран наконец. — Носи. Как я свою рожу ношу. Через меня смотрят, а я ношу. Через тебя тянут — а ты носи. И не разжимай, где не надо.

— А где надо?

— А это, малый, — Бертран поднялся, хрустнув коленями, — ты узнаешь, когда будет надо. Не раньше. — Он постоял. — Ты сегодня всё правильно сделал. Ты ему сказал «спасибо» и «нет» в одном вдохе. Я двадцать лет так не мог. Я двадцать лет говорил «да» и смотрел в сторону.

Он ушёл в дом.

Ильяс сидел на крыльце, пока не замёрз. Он не чувствовал, как мёрзнет правая рука, — она была мёртвая. Он чувствовал, как мёрзнет всё остальное. Он сидел и держал в мёртвой ладони маленький тёплый уголь, который тянулся к небу, — и не отпускал.

Перед тем как уйти в дом, он сказал вслух, тихо, — не небу, не искре, а просто так, чтобы прозвучало:

— Мила.

Тепло в ладони дрогнуло. Как будто кто-то на другом конце верёвки на миг отпустил.

Глава четвёртая
Гвоздь

Рена. Устье Сухой. Сто шестьдесят шестой — сто шестьдесят девятый дни.

Карта звала по ночам.

Днём — нет. Днём Карта лежала под сиденьем у штурвала, сложенная в несколько раз и убранная в чехол из тюленьей кожи. Сухая, тяжёлая, с виду — старая парусина, на которой кто-то развёл углём линии. Днём было не до Карты. Днём было устье, лёд, вода, ругань, «Верная», которую надо было держать на плаву в реке, которая решила замёрзнуть.

А ночью полотно теплело.

Не всё. Одной ниткой. Той, что тянулась от устья Сухой — Рена узнавала изгиб берега и мелкие протоки — на запад. Через устье, через залив, через открытое море, по Дороге, которая снова шла, — к маленькой дрожащей точке у нижнего края. К Сели.

Нитка была тонкая и ровная, как струна. Если положить на неё палец, — Рена клала, ночью, в каюте, при плошке, когда Тур спал, — она гудела. Тихо. Как гудит натянутый штаг, когда ветер ещё не пришёл, а уже собирается.

Иди, гудела нитка. *Открыто.*

Открыто — да. Даром. Вода пошла, Дорога пошла, и дорога к Сели, которую восемнадцать лет никто не мог найти, лежала теперь на Карте прямая, как стрела. Двадцать дней хода, если Дорога будет держать, как держала, когда «Верная» шла из Штиля домой. Тридцать — если нет.

А острову оставалось год. Может, два.

Рена снимала палец с нитки и долго сидела, не гася плошку. Потом гасила и ложилась. Нитка гудела и в темноте — она слышала её сквозь сон, — и ей снилась мать на маяке, в синем платке, с жёлтым фонарём, и под маяком — сваи. Чёрные, мокрые, мягкие, как хлеб, если его надолго оставить в воде.

* * *

— Лёд, капитан, — сказал Квинт утром.

Рена вышла на палубу.

Лёд. Сухая замерзала с берегов к середине, медленно, упрямо, как упрямо всё в этой реке, которая то есть, то нет. «Верная» стояла в устье, на двух якорях, в двадцати саженях от левого берега, — там, где течение ещё держало воду чистой. Но за ночь кромка подползла на три сажени. Ещё неделя — и шхуна вмёрзнет. Ещё месяц — и лёд её раздавит, как орех.

— Вижу, — сказала Рена.

— Решать надо, — сказал Квинт. Он стоял у борта, худой, в двух шарфах, с инеем на бровях, и смотрел не на лёд, а на воду за ним. Квинт всегда смотрел на воду. Раньше видел в ней то, чего нет, — корабль, тонущий в кильватере, двадцать лет подряд. С той ночи на стекле — не видел. Говорил, что скучает. Врал, наверное.

— Решу.

— Или в море, или на берег вытаскивать. На катках. — Квинт пожевал губами. — На катках — это всем лагерем. Корвин даст людей, если попросить.

— Не попрошу.

— Почему?

Рена не ответила. Квинт посмотрел на неё, потом на сиденье у штурвала, под которым лежала Карта, и ничего больше не спросил. Он был штурман. Он умел считать.

Если вытащить «Верную» на берег — она простоит до весны. До ледохода. До первой воды. Два, три месяца. А острову — год. Может, два.

Если уйти в море — сейчас, пока лёд не взял, — Дорога понесёт на запад. К Сели.

Она стояла у борта и смотрела на кромку льда, и думала, что всю жизнь решала быстро. Рифы, мели, таможенники, шторма, пираты, вельсарские сторожевики, кордарские сторожевики — она решала, пока другие думали. Решала сердцем, животом, кончиками пальцев на штурвале. Мать говорила: «Море не ждёт, пока ты подумаешь. Море ждёт, пока ты сделаешь».

Сейчас море ждало. И она не делала.

* * *

В камбузе было тепло и пахло козой.

Бабка Сорель стояла у печки, широкая, как скала, на которой выросла, и мешала в котле что-то серое, с перловкой. Коза лежала у порога и жевала край мешковины. На лавке у стола сидели Пеппи и Ян — внук старого Окуня, восьмилетний, с оттопыренными ушами, — и делили сухарь пополам с той точностью, с какой делят добычу.

К тому времени, как «Верная» встала в устье, беженцы из Ветлов уже добрались до лагеря по суше. Те самые шестьдесят один: женщина с ребёнком, старуха с прялкой, мужики, бабы, дети. Корвин принял всех — сказал: «Где пять тысяч, там и ещё шестьдесят». Узнав о Рене, двое спустились к устью. Старый Окунь с повязкой на глазу сказал: «Я рыбак. Мне на берегу делать нечего. Я тут сети чинить буду». И остался на шхуне. А Ян остался, потому что остался дед.

— Капитан, — сказал Пеппи. — А правда, что мы на Сель пойдём?

Рена посмотрела на него. Рыжий, конопатый, шестнадцать лет, сын шкипера Ольма с Кормовой. У Штиля он сказал голосу под водой: «Не надо бесплатно. Мамка говорила: бесплатно — только сыр в мышеловке». Рена тогда чуть не заплакала. Не заплакала. Капитаны не плачут при юнгах.

— Кто сказал?

— Марно, — сказал Пеппи. — Оба.

— Марно много говорят.

— Они говорят, у вас нитка гудит. У штурвала. Они ночью слышали.

Сорель перестала мешать.

— Ешь, — сказала она Пеппи. — Капитан скажет, когда скажет.

— А я что? Я ничего, — сказал Пеппи. И, помолчав, тише: — Я просто… Звёзды же не на месте. Ковш боком. Рыбьего Глаза нет. Как идти-то? Отец учил — по Глазу. А его нет.

— По Карте, — сказала Рена.

— А если Карта врёт?

— Карта не врёт, — сказала Рена. — Врут люди, которые на неё смотрят.

Ян поднял голову от сухаря.

— А дед говорит, — сказал он тонко, — что на Сели все спят. Стоя. И мамка твоя спит, капитан. На маяке.

В камбузе стало тихо. Только коза жевала.

— Не спит, — сказала Рена. — Ждёт.

— Чего?

Рена не ответила. Она вышла на палубу, достала трубку — короткую, прокуренную, с мундштуком, который треснул у Штиля и теперь был замотан дратвой, — набила, раскурила. Стояла у борта и курила, глядя на запад. Дым шёл ровно, столбом. Ветра не было.

Мать тоже курила трубку. Тайком от отца, на маяке, по ночам. Рена в шесть лет нашла её трубку в щели между плитами и попробовала. Её рвало до утра. Мать не ругала. Сказала: «Ну вот. Теперь знаешь. Теперь можешь не пробовать». Рена попробовала снова через десять лет. Уже на чужом корабле.

* * *

Куттер Ланге стоял в устье с третьего дня.

Он пришёл следом — Рена знала, что придёт. Дом Вандерграф умел ждать. Ланге ждал у кромки Штиля, сколько они были внутри, — неделю? месяц? — никто не знал, время там вязло. Ждал, пока вода не пошла. А когда пошла — пошёл следом, на дистанции, не догоняя, как ходит за стадом волк, который не голоден, а просто хочет знать, куда стадо идёт.

Теперь он стоял в полукабельтове выше по течению, на одном якоре, со ржавым косым парусом, убранным на гик, и с серебряной чашей весов на синем вымпеле. Сам Ланге не показывался. Посыльный в синей курточке — показывался, бегал на берег, к лагерю, с письмами и обратно. Позавчера ускакал на казённой лошади с пакетом за пазухой. Рена знала, кому.

Сегодня Ланге показался.

Он подошёл на шлюпке, сам на руле, двое гребцов. Ловко, без лишнего шума, как подходят люди, которые всю жизнь ходят на шлюпках к чужим бортам. Встал под бортом «Верной» и снял шапку.

— Капитан Тарвес, — сказал он. — Разрешите подняться.

— А если не разрешу?

— Тогда я посижу тут, — сказал Ланге. — В шлюпке. Пока не разрешите. Мне не к спеху, капитан. Я вас у Штиля месяц ждал.

Рена плюнула за борт.

— Поднимайтесь.

* * *

В каюте у Ланге запотели очки. Он снял их, протёр платком — лавандовым, Рена почувствовала запах через всю каюту, — и надел снова. Сел на рундук, на который она ему показала, сложил руки на коленях. Пожилой, лет пятидесяти пяти, сухой, гладко выбритый, в хорошем синем кафтане, без перстней. Пахло от него лавандой и чернилами, как пахло в его каюте на куттере, когда он продал ей журнал Оссендорпа. Нет. Отдал. Дом продаёт только дороги, сказала она тогда, и забрала журнал даром.

— Вы ходили на Сель, — сказал Ланге.

Это был не вопрос. Рена молчала.

— Мне было пятнадцать, — сказал Ланге. — Сорок лет назад. Отец взял меня на Сель — покупать сети. Остров тогда стоял. Как все острова. Я видел вашу мать, капитан. Маргит Тарвес. Она сидела на пристани и чинила сеть. Быстро-быстро, челноком. Не глядя. Смотрела на воду. Я тогда подумал: эта женщина видит в воде больше, чем я на бумаге. — Он помолчал. — Через месяц Дорога встала. А Сель держалась ещё двадцать с лишним лет — и ушла, восемнадцать лет назад. Я с тех пор ищу остров, на котором видел вашу мать.

— Зачем?

— Потому что дом торгует дорогами, — сказал Ланге. — А Сель — это дорога. Старше всех. Ваша мать знала её. Ваша Карта знает её. Дом сорок лет искал ваш лоскут. Мы думали — это карта. Это не карта. Это то, с чего карты рисуют.

— Вы это уже говорили.

— Говорил. — Ланге кивнул. — Теперь скажу другое. Карта зовёт вас на Сель?

Рена не ответила. Ланге смотрел на неё — спокойно, внимательно, как смотрит человек, который всю жизнь читал чужие лица в портах и торговался с ними за грош.

— Зовёт, — сказал он. — Я вижу. Вы держите руку на груди. Всё время. Даже сейчас. — Он помолчал. — Нить к Сели открылась в ту ночь, когда пошла вода. Адальберт видел на своих картах. Все одиннадцать карт — одна нить, с востока на запад, от Сухой к нижнему краю. Он плакал, капитан. Ему семьдесят лет, он сорок лет рисует эти карты, — он сидел над ними и плакал.

— Мне плевать на Адальберта.

— Знаю. — Ланге не обиделся. — Тогда скажу о вас. Вы пойдёте на Сель. Не сейчас — так весной. Дорога открыта, «Верная» дойдёт. Вы найдёте остров. Вы увидите маяк. Мать. Людей на пристани. Семьдесят живых, у которых восемнадцать лет — одно утро. И вы будете стоять рядом — день, неделю, месяц, — и смотреть, как сваи под маяком уходят в воду. Потому что сваи — от умерших богов. Они гниют. Вам это сказали у весов. Вы отказались платить. Это был ваш выбор. Я его уважаю.

— Вы не знаете, что мне сказали у весов.

— Знаю, — сказал Ланге. — Вся команда знает. А команда ходит на берег, а на берегу лагерь, а в лагере пять тысяч человек, которые хотят знать всё. — Он развёл руками. — Мой посыльный — двенадцать лет. Он слушает, когда говорят. Я плачу ему за это.

Рена сжала кулак.

— Говорите, что хотели, и уходите.

Ланге подумал. Потом снял очки, протёр их снова, хотя они не запотели.

— У дома есть вещь, — сказал он медленно. — Которая держит.

* * *

Он говорил тихо, почти шёпотом, как говорят в портовом кабаке, когда за соседним столом может сидеть таможня. Рена слушала.

Сорок лет назад моря начали ходить. Острова один за другим стали уходить, как лодки, сорванные с якоря. Большие и малые. Кормовая Скала. Острова Ракушечной гряды. Сель продержалась дольше других. Половина Вельсары оторвалась от своих мест и пошла по воде куда хотела. Карты стали врать. Торговля рухнула. Дома разорились — один за другим, — потому что не могли найти собственные склады.

Не поплыл только один остров. Столичный. Хоогланд.

— Все знают, почему, — сказал Ланге. — Хоогланд стоит на скале. Под ним — гранит, корни гор, до самого дна. Так говорят в каждом порту. Так написано в каждой книге. Так учат детей. — Он поднял глаза. — Капитан, я сорок лет рисую карты. Я знаю, где под Хоогландом гранит, а где — песок и ракушечник. Под Хоогландом — не гранит. Под Хоогландом — то же, что под Селью. Под Кормовой Скалой. Под любым островом Вельсары. Ничего особенного.

— Тогда почему стоит?

— Потому что держат.

Рена смотрела на него.

— Дом Вандерграф, — сказал Ланге, — сорок лет назад получил вещь. Как получил — не скажу, не знаю, это знают три человека, и я не из них. Вещь лежит в доме. В подвале под конторой на Весовой набережной. Пока она там — Хоогланд стоит. Как гвоздь в доске. Вокруг всё плывёт — а он стоит. Потому дом Вандерграф и сильнейший: у нас единственный в Вельсаре остров, который всегда на месте. Склады там, где их оставили. Корабли приходят туда, куда шли. — Он помолчал. — Один раз его повело. Давно. Об этом в доме не говорят.

— Что за вещь?

— Не знаю, — сказал Ланге. — Видел один раз. Издалека. Тридцать лет назад, молодым, при отце. Тяжёлая. Тёмная. Как будто в ней — дно моря.

Он замолчал. Рена ждала.

— Ваш остров, — сказал Ланге, — уходит, потому что под ним гниют сваи. Сваи — от умерших богов. Как сказали у весов. Если под Сель положить основание — настоящее, не божье, — Сель не уйдёт. Встанет. Как Хоогланд.

Рена не двигалась.

Рена всё ещё слышала, как ночью гудела нитка. Тихо, ровно.

— Вы мне это продаёте, — сказала она.

— Нет.

— Врёте.

— Нет, — повторил Ланге. — Вещь не моя. Вещь — дома. А дом сейчас… — Он запнулся. Первый раз за весь разговор. — Дом сейчас улыбается, капитан. Весь совет. Глава дома. Все. Кроме госпожи Илиссы и адмирала Ведекинда. И меня. — Он посмотрел на свои руки. — Я не тёплый. Я сорок лет рисую карты по ночам, мне некогда греться. А они — улыбаются. Одинаково. Говорят одними словами. И глава дома каждый вечер спускается в подвал под конторой и смотрит на вещь. И улыбается.

— Что вам от меня надо?

— Мне — ничего, — сказал Ланге. — Госпоже Илиссе — чтобы через восемнадцать дней вы привели государя Кордара на Дорогу. Туда, где она выходит к здешнему берегу. Только вы можете найти это место. Только ваша Карта показывает Дорогу так, как она есть, а не как кажется.

— А мне что?

Ланге поднялся. Надел шапку. Посмотрел на неё сверху вниз — сухой, вежливый, пахнущий лавандой.

— А вам, капитан, — сказал он, — я ничего не предлагаю. Я сорок лет торгую дорогами и знаю: вам ничего нельзя предложить. Вы не продаёте груз. Вы сказали это у весов. — Он помолчал. — Я только рассказал вам, что в Вельсаре есть вещь, которая держит острова. Чтобы вы знали это, прежде чем поплывёте на Сель смотреть, как он тонет. Что с этим знанием делать — решайте сами.

Он ушёл. Рена слышала, как стукнула шлюпка о борт, как плеснули вёсла.

Она сидела в каюте и держала руку на груди.

* * *

Тур пришёл вечером.

Он вошёл, пригнувшись, — дверь каюты была ему по грудь, — и сел на тот же рундук, на котором сидел Ланге. Рундук скрипнул. Тур сидел молча, огромный, в вязаной шапке, сложив на коленях свои спокойные руки, и смотрел на неё.

Восемнадцать лет они ходили вместе. Он знал её с детства — с Сели, когда она была рыжая от солнца девчонка с разбитыми коленками, а он — молчаливый парень из соседнего двора, который уже тогда был выше всех. Он знал её лучше, чем она сама. Он говорил с ней, может быть, раз в месяц. Ему не нужно было больше.

— Ланге, — сказала Рена.

Тур кивнул.

— Ты слышал?

Тур покачал головой. Значит, не слышал, но знал. Тур всегда знал.

— У них есть вещь, — сказала Рена. — Которая держит острова. Если её положить под Сель — Сель не уйдёт.

Тур смотрел на неё.

— Он не продаёт, — сказала Рена. — Говорит — не продаёт. Говорит — вещь в доме, а дом улыбается. Говорит — просто чтобы я знала. — Она засмеялась, коротко, зло. — Чтобы я знала. Сорок лет дом ищет мою Карту, и вот — просто чтобы я знала.

Тур молчал.

— Анна, — сказала Рена.

Тур не шевельнулся. Только руки на коленях — спокойные, огромные — чуть сжались.

Анна ждала на пристани Сели. Восемнадцать лет. В том же платье, в котором Тур её оставил, когда вышел ловить рыбу на дальнюю отмель. Она не знала, что прошло восемнадцать лет. Для неё прошло одно утро. В сердце Штиля Рена сама спросила его об Анне. Тур промолчал. Семьдесят душ за Сель — он не стал просить их у Рены. Для Анны это тоже было «нет».

— Если положить основание, — сказала Рена, — она дождётся. Ты понимаешь? Не утонет со сваями. Дождётся. Ты придёшь — а она стоит. И для неё прошло одно утро. И ты ей скажешь: «Я тут». И…

— Рена, — сказал Тур.

Она замолчала.

Тур говорил редко. Когда он говорил, она слушала. Все слушали. Голос у него был низкий, медленный, как скрип большой мачты в штиль.

— Не покупай, — сказал Тур.

— Он не продаёт.

— Продаёт, — сказал Тур. — Ты знаешь.

Он встал. Пригнулся у двери.

— Мне — не надо, — сказал он. — Чтобы она ждала. Она уже дождалась. Утро — это хорошо. Одно утро. Пусть.

Он ушёл.

Рена сидела, глядя на закрытую дверь.

* * *

Государь приехал на сто шестьдесят девятый.

Верхом, с Ульфом и двумя солдатами, по льду вдоль берега. Хромой, в длинном тёмном пальто без украшений, с молитвенником за пазухой — Рена видела, как выпирает угол переплёта. Слез с коня у кромки льда, поморщился и дождался шлюпки. На борт поднялся сам, без помощи. Стоял на палубе «Верной» и смотрел на лёд.

— Вмерзаете, капитан.

— Вмерзаю, государь.

— Корвин даст людей вытащить на берег. Если попросите.

— Не попрошу.

Дарен посмотрел на неё. Тем самым взглядом, каким смотрел на Карту у Штиля, — читающим. Он и людей читал, как бумаги: до последней строки.

— Вы хотите в море, — сказал он.

— Хочу.

— На Сель.

— Хочу.

— Я пришёл просить вас в другую сторону, — сказал Дарен. — На Дорогу. Через шестнадцать дней. Туда, где она выходит к нашему берегу. Илисса Вандерграф пишет: «Приходите один или с тем, кому верите больше, чем себе». — Он помолчал. — На воде я не верю себе совсем, капитан. На воде я всегда чужой — и на Скале, и в Штиле. Всё время считаю губами, как вы.

— Это потому, что вы на воде не жили, — сказала Рена.

Дарен почти улыбнулся.

— Поэтому и прошу.

Рена смотрела на лёд. На кромку, которая за день подползла ещё на сажень. На куттер Ланге выше по течению, на серебряную чашу на синем вымпеле. На запад, где за заливом лежало открытое море, и по нему шла Дорога, и по Дороге — двадцать дней до Сели.

— Ланге вам рассказал? — спросила она.

— Что?

— Про вещь. Которая держит.

Дарен помолчал.

— Илисса пишет: «У дома есть вещь, она держит». И больше ничего. — Он смотрел на неё. — Ланге рассказал вам больше.

— Рассказал.

— Расскажете мне?

Рена думала. Ланге не просил молчать. Ланге вообще ничего не просил. Это было хуже всего — когда не просят.

Она рассказала. Коротко. Хоогланд. Не гранит. Подвал под конторой на Весовой набережной. Вещь, тяжёлая, тёмная, как дно моря. Глава дома каждый вечер спускается и улыбается.

Дарен слушал. Не перебивая. До конца.

— Она боится, что отец отдаст её, — сказал он, когда Рена замолчала. — Не ей. Не мне. Тому, наверху.

— Отдаст — и что?

— Не знаю. — Дарен посмотрел на север, где днём ничего не было видно, а ночью висела белая точка. — Варн говорит: тот, наверху, собирает. Восемь богов — восемь вещей. Ключ у Кассиана. Карта у вас. Компас у меня. Астролябия у Ярины. — Он помолчал. — Четыре из восьми — у нас. А он, говорят, не может без них. В одиночку. Он сидит наверху и не может спуститься — и не может, чтобы мы поднялись. А вещь, которая держит, — пятая.

Рена смотрела на него.

— Вы хотите её забрать.

— Я хочу прочитать, — сказал Дарен. — Всё. До последней строки. А потом решу. — Он повернулся к трапу. — Шестнадцать дней, капитан. Если пойдёте со мной на Дорогу — отвезу вас потом на Сель сам. Своим флотом, если надо. У Кордара есть флот. Небольшой. Мокрый.

— Мне не надо флот.

— Знаю, — сказал Дарен. — Я не покупаю. Я прошу.

Он ушёл. Рена стояла у борта и смотрела, как он хромает по льду к коню.

* * *

Ночью она расстелила Карту на столе.

Сросшееся полотно — с той ночи у Штиля край материного лоскута больше не найти, как будто Карту никогда и не рвали. Линии на нём двигались. Медленно, как всегда, — течения, ветры, острова, которые плыли, мели, которые переползали, — всё шло, всё дышало, как дышит вода.

Нитка к Сели гудела.

Рена положила на неё палец. Подержала. Сняла.

Потом сделала то, чего не делала никогда, — потому что никогда не было нужно. Она стала смотреть не на свою дорогу. На чужие.

Вельсара. Россыпь островов к северо-западу. Каждый — маленькое пятнышко на ткани, и каждое ползло. Чуть-чуть. На волос за ночь. Кормовая Скала — длинная, узкая, как корма, — плыла на юг. Ракушечная гряда — расходилась веером. Острова, которых она не знала по именам, кружились на месте, как щепки в водовороте.

Всё плыло.

Кроме одного.

Оно было большое, с неровным краем, как надкушенный хлеб. Оно стояло в самой середине Вельсары. И вокруг него линии текли — течения, ветры, — огибали его, как вода огибает камень. А оно не двигалось. Совсем. Ни на волос. Как будто кто-то взял гвоздь и прибил этот кусок Карты к столу.

Хоогланд.

Восемнадцать лет она смотрела на свой лоскут, месяц — на целую Карту и ни разу не заметила. Потому что смотрела на свою дорогу — на точку у нижнего края. Мать говорила: «Карта знает дорогу, Рена. Ты только не мешай ей». Рена не мешала. Рена смотрела, куда ей надо.

Она наклонилась ниже. Под Хоогландом, в самой середине неподвижного пятна, полотно было темнее. Не линия — точка. Тяжёлая. Тёмная. Как будто в этом месте ткань продавили пальцем — и так и оставили.

Как будто в ней — дно моря.

Рена смотрела на эту точку долго. Потом — на нитку к Сели. Потом — снова на точку.

Гвоздь. И остров на гнилых сваях.

Она свернула Карту, убрала в чехол и отнесла под сиденье у штурвала. Нитка гудела в тишине.

Утром она сказала Квинту:

— Вытаскиваем на берег. Иди к Корвину. Проси людей.

Квинт посмотрел на неё долго. Потом кивнул и пошёл.

Он не спросил почему. Квинт никогда не спрашивал, если ответ можно было сосчитать.

А Рена стояла у борта, держа руку на груди, и думала: ты не купишь. Тур прав. Ты не купишь. Ты просто пойдёшь посмотреть, что это за гвоздь. Посмотреть — не купить. Посмотреть можно.

И знала, что врёт. Легко. Как всегда.

Глава пятая
Сколько должна

Лира. Лагерь Корвина, Восточная Марка. Сто семидесятый — сто семьдесят второй дни.

На третьей неделе в лагере Лира научилась слышать, кто сколько должен.

Не сразу. Сначала был только счёт — ровный, тяжёлый, снизу, как стук гирь. Он шёл всё время, днём и ночью, и днём его заглушали голоса, а ночью оставался только он. Это было ещё на «Верной». Потом, на берегу, когда шли от устья к лагерю по снегу, полтора дня, счёт стал другим. Не громче. Подробнее. Как будто раньше она слышала, что за стеной мельник считает мешки, а теперь — какие мешки. С чем. Чьи.

Теперь, в лагере, она слышала всё.

Солдат у ворот был должен товарищу три медяка за кости. Сотник Ульф — сестре письмо, обещал писать каждый месяц и не писал с осени. Повар у котлов — жене верность, а жена у него в Озёрном, а он тут, и не верность. Корвин — тем, кто под Сухой грядой. Это был самый тяжёлый, кроме брата, долг в лагере: Лира слышала, как он ложится на чашку, — как мешок с мокрым песком. Когда Корвин проходил мимо, ей хотелось отойти.

Она не отходила. Она стояла и слушала.

Это было не страшно. Сначала — нет. Это было как… Лира искала слово и не находила. В Нижнем Вельде, у мельника Петера, за запрудой, была кладовая, и когда мать брала её с собой за мукой, Лира садилась на порог кладовой и слушала, как Петер считает мешки. Вслух. «Сорок один. Сорок два. Этот — Хельгин. Этот — Ханнин, она за прошлый должна». Он считал медленно, и в кладовой пахло мукой и мышами, и было тепло, и Лира засыпала под его счёт, как под колыбельную.

Теперь она снова сидела у мельника на пороге. Только мельник был огромный, как гора под туманом, и стоял не в кладовой, а под всем миром, и считал не мешки.

Людей.

* * *

Утром она пекла хлеб.

Бабы взяли её к печам на третий день — сначала ради Агнешки, которая не отходила от неё, потом ради неё самой: у Лиры получалось. Мать учила её месить тесто, когда ей было пять, — ставила на лавку у стола, давала кусок величиной с кулак и говорила: «Не дави. Уговаривай». Лира помнила. Руки помнили — лучше головы. Руки вообще теперь помнили всё лучше: как держать нож, как заплетать косу, как ставить чашку, чтобы не плеснуть. Как будто три месяца, пока она стояла на воде, руки ждали и копили.

Она месила тесто у третьей печи, и тесто под её ладонями было тёплое, живое, мягкое, и дышало, и поднималось, и пахло кисло и хорошо. Серое пятно в середине правой ладони тонуло в тесте, и его не было видно. Лира любила это время. Когда руки в тесте — пятна не видно. Когда пятна не видно — она просто девочка у печи.

Рядом месила Гретка — та самая, которую муж учил тесто уговаривать, а она треснула его поварёшкой. Большая, красная, с белыми от муки локтями. Гретка пела. Песня была неприличная, про храмового служку и козу, и Лира не понимала половины слов, но понимала, что неприличная, по тому, как хихикала Агнешка, лепившая из обрезков теста кривого петуха.

Потом Гретка перестала петь.

— Не подходит, — сказала она.

Лира посмотрела. Гретка стояла над квашнёй, где с вечера ставила опару, и опара лежала плоская, серая, мёртвая, как мокрый снег.

— Вчера ставила, — сказала Гретка. — Как всегда ставила. Не подошла. — Она подняла голову и посмотрела на Лиру.

Лира знала этот взгляд. С того вечера, как весовщик Бакман показал руку у кухонь, — знала. Бабы смотрели на неё так, когда думали, что она не видит. Как на Бакмана. Как на то, что пришло с воды.

— Ты вчера у моей квашни стояла, — сказала Гретка.

— Стояла.

— Руками трогала?

— Нет.

— Врёшь.

Лира не врала. Она хотела сказать это — и не сказала. Потому что в этот миг, когда Гретка смотрела на неё — красная, большая, с белыми локтями, с испуганными злыми глазами, — Лира услышала.

Не её. Гретку не надо было слушать. Гретка была громкая. Её долг лежал на чашке — тяжёлый, мокрый, свежий, — и Лира слышала его с первого дня. Просто не хотела знать, что это. Не хотела смотреть, какой это мешок.

А теперь — посмотрела.

Давка. Ночь у частокола, когда горели землянки и деревенские с улыбками несли огонь, и Корвин кричал «Не рубить! Тушить!», а потом погас купол, и пять тысяч человек вдруг замёрзли, и испугались, и побежали — кто куда, — и у частокола была давка. Лиры там не было, она тогда ещё стояла на воде. Но она слышала. Слышала так, будто стояла рядом.

Старуха. Маленькая, в чёрном. Её звали Марта. Она упала. И большая, красная баба с белыми от муки локтями, бежавшая к воротам, — переступила. Нет. Не переступила. Наступила. Потому что так было быстрее.

— Ты Марте должна, — сказала Лира.

Она не хотела. Она сказала это раньше, чем подумала, как говорят во сне.

Гретка побелела. Вся, сразу, от лица до шеи, — Лира видела, как кровь уходит из её щёк, будто кто-то выдернул пробку.

— Что?..

— Ты её… — Лира остановилась. Поздно. Бабы у печей замолчали. Агнешка уронила петуха. — У частокола. Когда все бежали. Она упала. А ты…

Гретка закричала.

Не на Лиру. Просто закричала — высоко, страшно, без слов, как кричит животное, когда наступишь ему на лапу. Потом села прямо в снег, рядом с квашнёй, и закрыла лицо белыми от муки руками, и закачалась.

— Я не видела, — говорила она сквозь пальцы. — Я не видела, кто там, я не видела, я бежала, все бежали, я не видела…

Она видела. Лира знала, что видела. Счёт знал.

Бабы смотрели на Лиру.

Никто не сказал «взвешенная». Никто ничего не сказал. Они просто смотрели — все, у всех печей, — и в их глазах было то, чего Лира не видела раньше никогда, ни у кого, даже у матери в последнюю неделю болезни, когда мать боялась к ней подходить, потому что не знала, чем помочь.

Они боялись не за неё. Её.

Лира вытерла руки о передник. Пятно в середине ладони было серое, круглое, с ноготь. Теперь его было видно.

Она пошла от печей. Не побежала. Пошла.

* * *

Агнешка догнала её у коновязи.

— Лира. Лира, стой.

Лира стояла. Лошади жевали сено и косились на неё. Лошадям было всё равно, кто сколько должен.

Агнешка подошла близко, запыхавшись, рыжая, в материнском платке, с тестом на пальцах. Остановилась. Посмотрела на Лиру снизу вверх — Агнешке было восемь, она была на голову ниже.

— Ты правда слышишь? — спросила она.

— Слышу.

— Кто кому должен?

— Да.

Агнешка помолчала. Потом сказала очень тихо, глядя в снег:

— А я деду должна?

Лира не ответила сразу.

Она знала, что Агнешка спросит. Она знала с первого дня. Староста Вит, хромой, с палкой, стоял у колодца в Ольховке вместе со всей деревней, «в двух местах сразу», когда земля в Марке легла дорогами одна на другую, — и Агнешка тянулась к журавлю, и журавль был на полшага дальше. Потом — ушёл. Дед. По другой дороге. Обернулся и помахал. А Агнешка сказала ему «приду» — она рассказывала Лире, — «я сказала ему: деда, я сейчас, я только платок возьму и приду». И не пришла. Потому что пришли солдаты Дарена и увели её. А дед ушёл один.

Лира с первого дня думала, что это тоже долг. Агнешка носила его, как носят камешек в башмаке. И Лира до сих пор не пыталась различить её в общем счёте.

А сейчас…

Лира закрыла глаза. Прислушалась.

Счёт шёл. Ровно. Тяжело. Корвин — гряда. Ульф — сестра. Гретка — Марта, мокрый мешок, ещё тяжелее, чем утром, потому что теперь Гретка знала, что это знают все. Солдат у ворот — три медяка. Сотни, тысячи, — весь лагерь, как мука в кладовой.

Агнешка.

Лира искала. Там, где она ждала найти маленький долг, было пусто.

Не лёгкое. Пустое. Как будто кто-то пришёл и снял с чашки.

— Нет, — сказала Лира. И открыла глаза. — Не должна.

— Правда?

— Правда. — Лира сама не понимала. — Я думала, есть. А его нет.

— А куда делось?

Лира думала. Счёт не отвечал — счёт никогда не отвечал, он только считал. Но в том месте, где было пусто, оставалось что-то — не вес, а как бы след веса. Как остаётся тёплое место на лавке, где кто-то сидел.

И она поняла. Не головой. Как понимают сквозь сон.

— Он отпустил, — сказала Лира.

— Деда?

— Он тебя отпустил. Он ушёл, обернулся и помахал — помнишь? Ты рассказывала. — Лира смотрела на неё. — Он не ждал, что ты придёшь. Он махал не «иди сюда». Он махал «до свидания». Он тебя отпустил. А когда отпускают — он не считает. Он не умеет.

— Кто — он?

— Тот, внизу, — сказала Лира. — Который считает. Он не умеет считать то, что отдали даром. Это… — Она искала слово. — Это не ложится на весы. Проваливается.

Агнешка смотрела на неё долго. Потом вдруг обняла — быстро, крепко, обеими руками, тестом на пальцах, — и отбежала.

— Я Гретке скажу! — крикнула она на бегу. — Что Марта её отпустит! Пусть Марту попросит!

— Агнешка, Марта умерла…

Но Агнешка уже бежала к печам, мелькая рыжим из-под платка, и не слышала.

Лира осталась у коновязи. Лошади жевали. Ей было холодно. Обычный холод — свой, человеческий, тот, которого не было на воде.

Марта умерла, подумала она. *А мёртвые — могут отпустить?*

Она не знала. Она сама была мёртвая почти пять месяцев. Она стояла на воде и никого не отпускала. Она ждала.

* * *

Отец Тальберт сидел на чурбаке у землянки и чистил очки.

Он всегда их чистил. Утром, днём, вечером. Очки были старые, с проволокой на дужке, и стёкла мутные, и от чистки не становились чище. Лира подозревала, что он чистит их не чтобы видеть, а чтобы руки было чем занять.

— Слышал, — сказал он, когда она подошла. Не поднимая головы. — Про Гретку.

— Весь лагерь слышал.

— Весь. — Он подышал на стекло. Пар пошёл белый, густой. — Садись.

Лира села на снег рядом, обхватив колени.

— Я не хотела, — сказала она.

— Знаю.

— Оно само. Я посмотрела — и сказала.

— Знаю. — Тальберт протёр стекло полой рясы. — Кассиан, когда только пришёл учиться, тоже. Сказал старой Бригитте у постели мужа, что муж уже не дышит, когда она думала, что спит. Не хотел. Посмотрел — и сказал. Бригитта его потом год не любила.

— А потом?

— А потом полюбила. Когда её саму провожали — позвала его. Сказала: «Этот скажет правду». — Тальберт надел очки. Посмотрел на Лиру сквозь мутные стёкла. — Правду слушать никто не любит, девочка. Особенно — когда её знает ребёнок. Ребёнок не умеет врать вежливо.

Лира молчала. Потом спросила:

— Отец Тальберт. А мёртвые — могут отпустить?

Старик помолчал.

— Ты была мёртвая, — сказал он. — Ты мне скажи.

Лира думала долго. Над лагерем стоял дым столбами. У ворот меняли караул. Где-то кричал последний петух.

— Там река, — сказала она. — Широкая. Тихая. Туман. Все стоят. Ждут лодку. Никто ни на кого не сердится. Никто ничего не помнит — ну, то есть помнит, но как через воду. Как сон, когда уже проснулся. — Она помолчала. — Я стояла и ждала, когда Касс придёт и проводит. Я не сердилась на него, что он проспал. Я просто ждала. А Марта… Марта, наверное, тоже не сердится. Ей там всё равно, кто на неё наступил. Ей там тихо.

— Значит, отпустила?

— Не знаю, — сказала Лира. — Мне кажется, ей там всё равно. А тот, внизу, всё ещё считает. — Она сжала руку с пятном. — Я слышу Греткин долг, а Марту не слышу. Я не знаю, отпустила ли она.

Тальберт смотрел на неё долго.

— Ты была там, — сказал он наконец. Тихо. — На той стороне. А теперь здесь. И слышишь его. Ты понимаешь, что ты — единственная во всём мире, кто был там, вернулся и слышит того, кто считает?

— Понимаю.

— Это тяжело.

— Это как жить у мельника за стенкой, — сказала Лира. — Я Кассу говорила.

Тальберт засмеялся. Неожиданно, сухо, как трескается сучок в печке.

— У мельника за стенкой, — повторил он. — Да. Похоже.

Он поднялся, опираясь на палку. Кости хрустнули.

— Гретке скажи сама, — сказал он. — Не сейчас. Завтра. Скажи: «Я слышу, что ты должна. Я не слышу, чтобы Марта сердилась». Это правда?

— Правда.

— Вот и скажи. Обе правды. Не одну. — Он постоял. — Ты сегодня сказала одну. Это половина. Половина правды — хуже вранья, девочка. Её не отпустишь.

* * *

Ярина жила в землянке у шатра, вместе с двумя сёстрами-лекарками из похода, — сёстры днём ходили по раненым, и Ярина сидела одна, за низким столом из перевёрнутого ящика, над своей книгой.

Лира пришла к ней перед закатом. Сама не знала зачем. Ей нужно было куда-то, где на неё не смотрят. Ярина не смотрела. Ярина писала.

— Садись, — сказала она, не поднимая головы. — Только не дыши на страницу. Уголь сыплется.

Лира села на нары и смотрела, как она пишет. Медленно, крупно, по чужой старой книге, поверх чужих цифр, — Лира знала, что это капитанский журнал, который Рена отдала Ярине, и что Ярина пишет в ней только то, что видела сама. Или то, что сказал тот, кто видел.

— Про Гретку пишешь?

— Пишу, — сказала Ярина. — «Сто семидесятый день. Лира у печей сказала Гретке из Ракитного: „Ты Марте должна“. Гретка закричала. Бабы молчали. Лира ушла». — Она подняла голову. — Так было?

— Так.

— Хорошо. — Ярина поставила точку. — Я пишу, что видела. А видела я, как ты ушла. Не убежала. Ушла. Это я тоже записала.

Лира молчала. Потом сказала:

— А ты сны видишь?

Ярина посмотрела на неё внимательнее.

— Вижу. Почему?

— Бабы говорят: в лагере всем чужое снится. Гретке снилось, что она мужик и косит. Ульфу — что он рожает. Сотник утром орал. — Лира не улыбнулась. — Агнешке снилась я. На воде. Она мне рассказала, как там. Всё правильно рассказала. А сама там не была.

— Знаю, — сказала Ярина. — Ко мне ходят. Каждый день. Человек по двадцать. «Госпожа Сновидица, мне снился чужой дом. Чей это?» Я Сновидица, а не почтмейстер. — Она

потёрла глаза. — Сны путаются, Лира. С тех пор, как там, на севере, начали бить. Все видят всех. Граница… тоньше.

— Какая граница?

— Между одним человеком и другим, — сказала Ярина. — Между твоим сном и моим. Её когда-то держали. Давно, очень давно её держать перестали — и она с тех пор протирается, как рукав на локте. А теперь — порвалась. — Она помолчала. — Мне самой теперь снится не моё.

— Что?

Ярина долго не отвечала. Лира уже решила, что не ответит.

— Руки, — сказала Ярина. — Старые. Слепые. Они не видят, а знают, где что лежит. Держат что-то маленькое. Холодное. Как… — Она пожала плечами. — Не знаю, как что. Я не вижу что. Вижу только, что держат. И что не видят снов. Так бывает во сне: знаешь, а не видишь.

Лира смотрела на неё.

И услышала.

Не хотела. Опять — само, как утром у печей. Только теперь она уже знала, как это бывает, и не открыла рот. Сидела и слушала.

Ярина тоже была на чашке. Как все. Её долг был не мешок и не камень. Он был узкий, длинный, сухой — как свёрнутая бумага. Старый. Не её — то есть её, но взятый не у живого.

— Ты старику должна, — сказала Лира. Тихо. Медленно. Выбирая слова, как выбирают, куда ступить на льду. — Который полки считал. Вслух.

Ярина не шевельнулась.

— Пул умер, — сказала она. — Давно. До того, как я ушла.

— Я знаю. Я не слышу мёртвых. Я слышу, что ты должна.

— Что?

— Не знаю. — Лира смотрела на свою ладонь. — Что-то обещала. Что-то, что надо вернуть. Туда. Домой. — Она подняла глаза. — Оно не лёгкое и не тяжёлое. Оно — ждёт. Как ключ ждёт двери.

Ярина медленно, не отрывая от Лиры глаз, сунула руку за пазуху и вынула ключ. Старый, медный, потемневший, на шнурке. Лира видела его раньше, на «Верной».

— Ключ Пула, — сказала Ярина. — От подвала, которого больше нет. — Она держала его на ладони. — Я обещала ему. Не вслух. Над его столом. Что допишу. Что вернусь и допишу всё, что он не успел. Что город будет знать, что под ним.

— Тогда — вот, — сказала Лира.

— И что, он теперь с меня взыщет? Как с Гретки?

Лира подумала. Вспомнила Тальберта: *обе правды. Не одну.*

— Я слышу, что ты должна, — сказала она. — Я не слышу, чтобы он торопил. — Она помолчала. — Он просто ждёт. Как я ждала на воде. Не сердится.

Ярина долго смотрела на ключ. Потом убрала его за пазуху. Взяла уголь. Написала что-то — коротко, одну строку. Лира не видела что.

— Спасибо, — сказала Ярина. Не глядя на неё.

— За что?

— За обе правды, — сказала Ярина. — Ты сегодня утром сказала одну.

Лира ушла от неё, когда стемнело. На пороге обернулась. Ярина сидела над книгой и не писала. Держала уголь над страницей и смотрела на север, где над березняком висела белая точка.

* * *

Вечером пришёл Кассиан.

Он пришёл позже обычного, уже в темноте, — из шатра Дарена, где теперь пропадал целыми днями. Дарен просил его сидеть на совете, когда говорили про мёртвых, про дорогу, про Гавань. Кассиан сидел и молчал. Лира знала, что он молчит, потому что слышала, как Ваагрут считает его — ровно, тяжело, с каждым днём чуть быстрее.

Это было новое. Она не понимала, что это значит. Раньше счёт брата шёл, как все: гиря — пауза — гиря. А теперь — гиря-гиря-пауза-гиря. Как будто тот, внизу, торопился. Или как будто брат сам весил больше с каждым днём.

Кассиан сел на нары, рядом с ней. Не снимая плаща. Пара от него не шло.

— Гретка, — сказал он.

— Ты тоже слышал.

— Дарен слышал. Сказал мне. — Кассиан смотрел на неё. — Ты как?

— Не знаю.

— Бабы боятся.

— Знаю.

— Тебя не пустят больше к печам.

— Знаю, — сказала Лира. — Агнешка пустит. Она главная у печей теперь. Она всем сказала, что я деда отпустила.

— Ты?

— Не я. Дед её. — Лира помолчала. — Касс. А ты знаешь, что он даром не считает?

Кассиан смотрел на неё.

— Что отдали даром, — сказала Лира, — он не считает. Не умеет. Проваливается. Агнешкин дед её отпустил — и у неё пусто. Не легко — пусто. Как будто и не было.

— Рена бросила медяк в воду, — сказал Кассиан медленно. — У столба. «Чтоб не даром».

— Вот. Она знала. Она морская. Морские знают. — Лира подтянула колени к подбородку. — Она бросила, чтобы он не думал, что она ему что-то должна за дорогу. Она заплатила. Медяком. Чтобы было ровно.

— А если бы не бросила?

— Тогда дорога была бы ей даром, — сказала Лира. — От тебя. Ты ведь с неё платы не просил. А он хотел бы посчитать себе. Только там пусто.

Кассиан молчал долго.

— Ты это откуда знаешь?

— Слышу. — Она пожала плечами. — Он сам не знает. Я слышу, где он не знает. Там пусто.

Она хотела сказать ещё — про его счёт, который стал быстрее. И не сказала. Она не знала, что это значит. Она не хотела говорить половину правды.

* * *

Ночью она не спала.

Кассиан спал рядом, на нарах, уронив голову на край, — как всегда, как в Нижнем Вельде, как на «Верной», — и дышал редко. Между вдохами она считала до шести. Тальберт храпел у стены. В печурке тлело.

Лира лежала на спине и слушала.

Лагерь. Весь. Как мука в кладовой. Мешок за мешком. Корвин — гряда. Ульф — сестра. Гретка — Марта. Солдат — три медяка. Бабы из похода — мужья, схороненные с улыбкой.

Дарен — отдельно, на другой чашке, и там было тяжело, но не так, как у других: не мокрый песок, а что-то ровное, твёрдое, большое, как камень на дороге, о который все спотыкаются. Брат — рядом. Гиря-гиря-пауза-гиря.

Она попробовала спросить.

— Сколько я тебе должна? — прошептала она в темноту.

Тишина. Счёт.

— Сколько?

Он не ответил. Он никогда не отвечал ей — только себе. Только раз, на «Верной», в третью ночь: *Ты будешь рядом. Ты — моя мера.*И больше ни разу.

Тогда она стала слушать себя. Как слушала Агнешку. Где-то в счёте должна быть и она — Лира, на чашке, гиря. Она искала. Долго. Как ищут в темноте свою чашку на общем столе.

Нашла.

Это было не похоже ни на чей долг. У других долги были — мешки, камни, пёрышки. А у неё — гиря. Настоящая. Бронзовая, тёмная, тяжёлая. И стояла она не на чужой чашке. На той же, где брат.

Рядом. Вплотную.

Две гири на одной чашке.

И весили они — Лира прислушивалась долго, задержав дыхание, — одинаково. Ровно. На волос не отличались.

Пока ты держишь его — он придёт.

Лира лежала и смотрела в темноту. Потом — просто так, сама не зная зачем, — закрыла глаза.

И счёт стал другим.

Не тише. Не громче. Мутнее. Как будто тот, внизу, считал теперь на ощупь. Лагерь расплылся — мешки сбились, гири съехали. Корвин, Ульф, Гретка — всё это ещё было, но как сквозь воду. Как сквозь туман.

Она открыла глаза — и счёт снова стал чётким. Ровным. Ясным. Каждый мешок на своём месте.

Лира лежала не двигаясь.

Закрыла. Мутно.

Открыла. Ясно.

Она не понимала, что это значит. Она подумала: наверное, я просто лучше слышу, когда смотрю. Как все. Люди лучше слышат, когда смотрят на того, кто говорит.

Она повернула голову и посмотрела на брата. На затылок. На вихор.

Гиря-гиря-пауза-гиря.

Счёт стал таким чётким, что Лире стало страшно.

Она закрыла глаза и не открывала до утра.

Глава шестая
Хронист

Ярина. Лагерь Корвина, Восточная Марка. Сто семьдесят третий — сто семьдесят четвёртый дни.

Сон пришёл в третий раз, и в третий раз Ярина проснулась, не досмотрев.

Она лежала на нарах в темноте, под двумя тулупами, и слушала, как сопят сёстры-лекарки у другой стены. Печурка остыла. Изо рта шёл пар. Сердце стучало часто, как после бега, — так всегда бывало, когда сон был не её.

Руки.

Старые. Маленькие. Сухие, как пергамент, с узловатыми пальцами и обкусанными ногтями. Они лежали на чём-то шершавом и холодном — камень? край чаши? — и двигались. Медленно. Не ощупывали — знали. Так знают свой дом слепые, в темноте: вот стол, вот лавка, вот кружка, всё на месте, всё там, где оставили.

На среднем пальце правой руки — что-то.

Маленькое. Холодное. Тусклое. Ярина не видела, что это. Во сне она никогда не видела — только знала, что оно есть. Как знаешь во сне, что за дверью кто-то стоит, хотя дверь закрыта.

И ещё одно она знала — так же ясно, без слов, как знают во сне главное: тот, чьи это руки, снов не видит. Никаких. Давно.

Ярина села на нарах, обхватив колени.

С детства она видела один и тот же сон. Двадцать лет, если считать с тех пор, как стала его запоминать. Круглый зал, двери, женщина с синим шаром и свет, которому она открывала. Только после вспышки сон пошёл дальше: свет впитал шар, и женщина упала сквозь двери. Ярина видела его так часто, что знала каждую деталь, каждый оттенок, каждый звук. Знала, что это правда — то есть не сон, а то, что было. Потом и в Палате смеялись: Сновидица, которой снится одно и то же. В Палате Весов её называли «наша Соль с её светом». В лицо — вежливо. За спиной — с жалостью.

Потом, у Штиля, она увидела этот свет наяву. Свет вышел из магистра Северина, и лицо у магистра стёрлось — «выскоблено», как имена под знаками Девяти, — и стало ровно, без черт. Её сон наяву. «Один», — записала она тогда. И подчеркнула дважды.

И ещё она запомнила правую ладонь. Северин прижимал её к груди, пока через него говорил свет. Потом, когда остался один, посмотрел на неё, как смотрят на занозу, которую не видно и не достать. *Болит… Давно.* Ярина вспомнила свой сон в Штиле: она сама была чем-то маленьким и острым внутри этой ладони. А если там не что-то осталось?

А кто-то.

Не дописывайте.

Она не дописала. В журнале на той странице была пустая строка. Ярина оставила её нарочно. Пустая строка — это тоже запись: «здесь было, но я не знаю что». Пул учил её: никогда не заполняй пустое догадкой. Оставь строку. Кто-нибудь придёт и заполнит.

Теперь ей снились слепые руки. И что-то холодное на среднем пальце. И что тот, чьи руки, — не видит снов.

Ярина вспомнила человека, который не видит снов.

* * *

— Ама, — сказала она Кассиану.

Было утро. Он сидел у проруби на Сухой, один, — Тальберт уже ушёл, посчитав ему пульс, — и смотрел на воду. Ледяная кромка у полыньи была толще, чем у других прорубей. Солдаты брали воду ниже.

Ярина села рядом на перевёрнутое ведро. От неё шёл пар. От него — нет.

— Двадцать шесть? — спросила она.

— Двадцать семь.

— Вчера двадцать восемь было.

— Вчера я ел.

— Ты и сегодня не ел.

— Ты как Лира.

— Я лучше Лиры. Я записываю. — Она помолчала. — Касс. Ама.

Он повернул голову.

— Слепая, — сказала Ярина. — Из Ордиса. Которая у сухого фонтана. Которая гудела с культом на одной ноте и говорила: «Ты видишь свет. Мы слышим низ». Которая сказала мне однажды, что не видит снов. Двадцать лет. С тех пор, как ушла вода из чаши.

— Помню.

— Слепые от рождения видят сны, Касс. Не картинки. Звуки. Запахи. Руки. Им снится, как пахнет мать, как скрипит дверь, какая шершавая кора. Я Сновидица, я знаю. Я толковала сны слепому звонарю с Колокольной двенадцать лет — каждую неделю. Ему снились колокола. По звуку он знал, какой треснул.

— И что?

— Ама не видит. Никаких. Ни звуков, ни запахов. Двадцать лет — пустота. — Ярина смотрела на воду. — Я думаю об одном объяснении. Пока только об объяснении.

— О каком?

— Когда кто-то держит твои сны за тебя.

Кассиан молчал.

— Мне снятся её руки, — сказала Ярина. — Третью ночь. Старые, слепые, маленькие. На среднем пальце — что-то холодное. Я не вижу что. — Она помолчала. — Касс, я двадцать лет вижу женщину с шаром, а после вспышки — как её убивают. Богиню. Ту, что держала сны. Имя Лиэны ты принёс от Морвена, но во сне она себя не называла. Я ещё не записала, что это точно она. А в Штиле мне снилось, будто я сама заноза в ладони света. Потом я видела, как Северин держался за ладонь. И думаю — там она. То, что от неё осталось. И я думаю, что если от неё что-то осталось в ладони у света, — то что-то могло остаться и в мире. Вещь. Её вещь. Как у Морвена — Ключ. Как у моря — Карта.

— Ты думаешь, у Амы…

— Думаю. Но не знаю. — Ярина вынула из-за пазухи журнал, раскрыла на той странице. Пустая строка. — Я пишу только то, что видела сама. Чтобы написать, кто там, в ладони, мне надо увидеть. А чтобы увидеть, мне надо то, что видит сны лучше меня. Я Сновидица, Касс. Я толкую сны. Я не умею входить в чужие. А тем более — в его.

— И это — у Амы.

— Это — в Ордисе, — сказала Ярина. — Сон показывает Ордис. Камень. Край чаши. Сухой фонтан. Я этот камень знаю на ощупь, я на нём в детстве сидела.

Кассиан долго смотрел на неё. Потом сказал:

— Ордис — вельсарский.

— Знаю.

— Ама — культ зова. Она служит ему. Тому, внизу. Она людей у фонтана заставляла гудеть ему на одной ноте. «Откройте Порог». «Не пускайте свет вниз». Это его слова, Ярина.

— Знаю.

— Порог под Ордисом. Его дверь. Если ты пойдёшь туда…

— Я не пойду к Порогу. Я пойду к Аме.

— Это одно и то же место.

— Знаю, — в третий раз сказала Ярина. — Касс, я всё это знаю. Я там родилась.

* * *

До полудня к ней шли сновидцы.

Так она их называла про себя — не тех, кто толкует, а тех, кому снится. Они стояли у землянки с рассвета, по десять, по двадцать человек, в тулупах и платках, переминаясь на снегу, и заходили по одному. Сёстры-лекарки ворчали, но терпели. Ярина сидела за перевёрнутым ящиком с журналом и слушала.

Сотник из столичного полка, седой, с перебитым носом: ему снилось, что он стоит у колодца, а колодец сухой, а на краю сидит слепая старуха и держит руки на камне. Он спрашивал, к смерти ли это. Ярина сказала: «Нет. К зиме». Он ушёл довольный.

Баба из похода, из-под Озёрного, молодая, с ребёнком на руках: ей снилось, что у неё нет глаз, а всё равно видно — пальцами. «Чужое снится, госпожа, — сказала она шёпотом. — Я-то зрячая. А во сне — слепая. И сна во сне нету. Как это — сна во сне нету?» Ярина записала её имя: Ханна Ребер, с Мельничного хутора под Озёрным. Ильяс просил бы записывать имена. Ильяс был ещё в Ракитном, но Ярина записывала — на всякий случай.

Мальчишка-барабанщик лет десяти: ему снился фонтан. Большой, каменный, сухой, с чашей. «А в чаше — дырка, и туда вода ушла. Я туда посмотрел, а там — темно и дышит». Ярина спросила, видел ли он когда-нибудь такой фонтан наяву. Он сказал: «Не. Я из Ласка. У нас фонтанов нету. У нас колодцы».

Площадь Весов. Сухая чаша. Ярина держала уголь над страницей и не писала.

Её сон уходил от неё. Как вода из чаши — вниз, в темноту, в чужие головы. Граница порвалась, и то, что снилось ей, снилось теперь сотнику из столицы, бабе из-под Озёрного, барабанщику из Ласка, который никогда не видел фонтанов. Не целиком — кусками. Как обрывки одной песни, которую поют в разных концах лагеря.

Как будто кто-то звал. Не её одну. Всех, до кого доставал. А услышала — только она, потому что одна знала, что это за камень.

Последней пришла Гретка.

Ярина узнала её сразу — большую, красную, с белыми от муки локтями. Только сейчас Гретка не была красной. Была серая, опухшая, с мокрыми глазами. Она села на нары, не спросив, и долго молчала, комкая в руках платок.

— Девчонка эта, — сказала она наконец. — Лира. Утром пришла. К печам. Бабы её гнать — а Агнешка встала, руки в боки: «Не трожь!». — Гретка всхлипнула. — Пришла и говорит: «Я слышу, что ты Марте должна. И я не слышу, чтобы Марта сердилась». И стоит. Маленькая. Смотрит.

Ярина молчала.

— А мне ночью Марта приснилась, — сказала Гретка. — Первый раз. Стоит у реки. Широкая река, туман. Народу — как на ярмарке, и все стоят. А Марта — в чёрном, маленькая, — поворачивается ко мне. И машет. Вот так. — Гретка подняла руку и помахала — медленно, ладонью, как машут с пристани. — Это к чему, госпожа Сновидица? Это — «иди сюда»? Или…

— Или, — сказала Ярина.

— «До свидания»?

— Не знаю, — сказала Ярина честно. — Я толкую сны, Гретка. Не мёртвых. Я не знаю, что Марта хотела сказать. Я знаю только, что во сне ты её видела. И что она махала.

Гретка долго смотрела на свою поднятую руку. Потом опустила.

— Запишите, — сказала она. — В книгу вашу. Что Марта махала. Чтобы было где-то.

Ярина записала. *Гретке из Ракитного снилась Марта у реки. Махала.*

Гретка ушла. Ярина сидела над строкой и думала о том, что Лира сказала про Агнешкиного деда. *Он махал не «иди сюда». Он махал «до свидания».* Она записывала сны почти двадцать лет. Но сейчас ей хотелось не истолковать сон, а принять его за весть от Марты. И она не знала, правда ли это.

Она не зачеркнула. Поставила рядом на полях маленький знак — птичий след, как на арке под Ордисом. Её собственный знак для «не видела сама, но было сказано».

* * *

Днём её позвал Дарен.

Он сидел в шатре один — совет разошёлся, жаровни догорали, — и перед ним на столе лежал Компас Истины, стрелкой на север, и молитвенник, и стопка бумаг. Колено вытянуто под столом. Он кивнул ей на лавку.

— Я хочу вас кое о чём попросить, — сказал он.

— Вы уже попросили. В Марке, в шатре. Я отказала. Записать «Государь решил идти к весам — мы с Ильясом против сделки» — это не отказ, это запись.

— Помню. — Дарен почти улыбнулся. — Теперь другое.

Он положил руку на стопку бумаг.

— Совет, — сказал он. — Четыре дня. Вейгель, Тосс, Кранц, Зеллер, Варн, Корвин, Хедде. Говорили о магистре, о кинжале, о тумане, о тёплых, о зерне, о долгах. Я записывал. — Он похлопал по молитвеннику. — Себе. Но это — себе. А мне нужно, чтобы было записано для всех. Для Озёрного, для Аппеля, для Ласка, для столицы. Чтобы через сто лет кто-то открыл и прочитал, что здесь было. Не то, что кому-то хотелось бы, чтобы было. То, что было.

Ярина смотрела на него.

— Вы хотите хрониста, — сказала она.

— Я хочу вас.

— Хронист совета провинций, — сказала Ярина медленно. — При государе Кордара. С жалованьем, с печатью, с местом в Старом крыле. — Она помолчала. — Господин Кранц будет счастлив. Он мне сегодня утром у шатра так и сказал: «Госпожа Соль, ваш журнал — бесценен, его надо только немножко… упорядочить». Он хотел сказать «поправить». Я видела, как он хотел.

— Кранц не будет ничего править.

— Не будет. Будет кто-то другой. Через год. Через десять. — Ярина покачала головой. — Государь, я двенадцать лет работала в Палате Весов. Знаете, что такое Палата Весов? Это архив, в котором город хранит правду о себе. Двести лет. Протоколы совета, тяжбы, уставы гильдий, колодезные книги. Правду. Так считалось. — Она смотрела на Компас. — А потом я нашла в тридцатом томе протоколов ссылку на закрытый фонд. А в закрытом фонде — что четыреста лет назад под городом нашли арку из чёрной кости, а совет велел: «Ниже двадцатой сажени не копать». И забыл. Вписал в закрытый фонд — и забыл. Четыреста лет весь город жил над дверью к мёртвым и не знал. Потому что архив хранил правду. Для себя. А не для города.

— Я не прошу хранить для себя.

— Вы — нет. — Ярина помолчала. — Государь, вы читаете всё. До последней строки. Я видела. Это редкость, я таких людей встречала двоих — вас и Пула. — Она сжала руки на коленях. — Но я не напишу для короны. Даже для вашей. Если я стану хронистом при государе

— всё, что я напишу, будет правдой при государе. Её будут читать как правду государя. Её будут цитировать на советах, переписывать в указы, вешать на ворота. Через сто лет кто-то откроет и прочитает — и поверит, потому что печать. А печать — это не правда. Это вес. — Она подняла глаза. — Я видела, что бывает, когда правду держит вес. Вы тоже видели. Зеллер видел.

Дарен молчал. Потом спросил — не обиженно, просто чтобы знать:

— Тогда для кого вы пишете?

Ярина вынула журнал. Раскрыла на первой странице. Там, поверх старых капитанских цифр, её собственным почерком было написано: *Начато на «Верной». Пишу только то, что видела сама.*

— Ни для кого, — сказала она. — Для того, кто придёт и прочтёт. Без печати. Без жалованья. Если поверит — пусть сам. Если нет — пусть проверит. — Она закрыла журнал. — Это не продаётся, государь. Даже вам. Особенно вам. Вы хороший человек. Хорошим людям правду продают легче всего. Они не торгуются.

Дарен смотрел на неё долго. Потом кивнул.

— Хорошо, — сказал он. — Записано.

— Вы не обиделись?

— Я прочитал, — сказал Дарен. — До последней строки. — Он подвинул к себе молитвенник, обмакнул перо и написал что-то. Ярина не видела что. — Тогда — другая просьба. Через двенадцать дней я иду на Дорогу. К Илиссе Вандерграф. Капитан Тарвес ведёт. Илисса пишет: «С тем, кому верите больше, чем себе». Я хочу взять вас.

— Почему?

— Потому что вы знаете, где правда, а где слова. — Он смотрел на неё. — А Вандерграфы — это слова. Двести лет хороших слов. Я один не разберу.

Ярина думала.

Дорога. Вельсарка. Дом Вандерграф. Ордис — вельсарский. Ордис отдали Вельсаре без штурма, в полдень шестьдесят седьмого, синий флаг над Палатой Весов, — и кто держит Ордис теперь? Совет домов. А в совете домов кто? Вандерграф. А кто из Вандерграфов не улыбается?

— Я пойду, — сказала Ярина. — При одном условии.

— Каком?

— Я спрошу у неё пропуск. В Ордис. Для себя.

Дарен положил перо.

— Зачем вам в Ордис?

Ярина рассказала. Не всё — про сон, про руки, про Аму, которая не видит снов. Про пустую строку. Не сказала только одного — про долг Пулу, про ключ от подвала, которого больше нет. Это было её.

Дарен слушал. До конца. Потом сказал:

— Кассиан знает?

— Знает.

— Что говорит?

— Что это одно и то же место, — сказала Ярина. — Ама и Порог.

— Он прав.

— Знаю.

Дарен помолчал.

— Я спрошу Илиссу за вас, — сказал он. — Сам. Если откажет — значит, откажет. Если нет — капитан Тарвес вас отвезёт. После Дороги. — Он закрыл молитвенник. — И, госпожа Соль. Это я не покупаю. Это я прошу.

— Знаю, — сказала Ярина. — Вы у нас все просите. Это заразно.

* * *

Вечером вернулся Ильяс.

Ярина узнала раньше, чем увидела: у ворот загудели, кто-то побежал к шатру, кто-то закричал Ортвину «Старшина!». Потом в лагерь въехали — Ильяс, Бертран, Ортвин, Рольф, десяток солдат, — без обоза. Обоз остался в Ракитном.

Ильяс слез с коня и пошёл не к шатру, а прямо к её землянке. Она стояла у входа. Он остановился перед ней — высокий, светловолосый, в старом сером плаще без солнца, с правой рукой, обмотанной тряпкой, — и долго не говорил ничего.

— Он знает имена, — сказал наконец Ильяс.

Ярина ждала.

— Те, что снял. — Ильяс смотрел мимо неё. — Он говорил со мной голосом Милы. Через брата Ансельма. Через тридцать человек сразу. «Ильяска, пусти». Её голосом. Её словами. Из того леса.

— Ты разбудился?

— Бертран разбудил. Допросом. Как тебя зовут, откуда, где она. — Ильяс помолчал. — Она — там. За аркой. Я знаю. Но он знает, как она кричала. Он слышал. Он был рядом. Он всё взял, что двадцать четыре года с меня снимал, — и держит. И может сказать любым голосом, который взял.

Ярина медленно открыла журнал. Взяла уголь.

— Говори ещё, — сказала она. — Я записываю.

Ильяс говорил. Про мост, про одну улыбку на тридцать лиц. Про тепло, которое теперь стоит в людях, как вода в полной чаше, — без магистра, напрямую. Про сто девяносто шесть разбуженных и сто сорок, которые ушли в Солнечный дом и закрыли ворота. Про искру, которая тянется к небу, как паутинка. Про «спасибо» и «нет».

Ярина записывала. Медленно, крупно. Ильяс замолчал. Она поставила точку.

— В Ордисе, — сказала она, не поднимая головы, — тоже есть Солнечный дом. Белые проповедники стояли у главного фонтана на Площади Весов, ещё при мне. Пятеро. А город теперь вельсарский, а у вельсарцев совет домов улыбается одним голосом.

Ильяс посмотрел на неё.

— Ты туда идёшь.

— Иду.

— Зачем?

— За тем, кто снов не видит, — сказала Ярина.

Ильяс не спросил больше. Он вообще мало спрашивал теперь — с тех пор, как ушёл от света. Раньше он спрашивал, как спрашивают на допросе. Теперь — как спрашивают, когда не уверен, что имеешь право.

— Имена, — сказал он. — Если пойдёшь в Ордис, — запоминай имена. Все. Каждого, кого встретишь. Полностью. С улицей, с родней. Записывай. — Он поднял правую руку, обмотанную тряпкой. — Он знает те, что снял. Но новых — не знает. Новые — твои.

Ярина кивнула.

— Записано, — сказала она.

* * *

Ночью Кассиан пришёл к её землянке.

Он не вошёл — сёстры-лекарки спали. Постучал по столбу у входа, два раза, тихо. Она вышла в тулупе, накинутом на плечи.

Мороз стоял крепкий, звонкий, со звёздами — чужими, сбитыми со своих мест. На севере над березняком висела белая точка, и вокруг неё вспыхивало бледно и беззвучно.

Кассиан стоял, сунув руки под мышки, и дышал впустую — ничего. От неё шло — густо, белым облаком, и облако висело между ними.

— Я пойду с тобой, — сказал он.

— Нет.

— Ярина…

— Нет, Касс.

— Ордис — его. Порог — его дверь. Культ — его. Ама — его. — Он говорил тихо и быстро, как говорят то, что долго держали в себе. — Ты пойдёшь к нему в руки. Я уже говорил с ним. Я могу открыть и закрыть. Если что-то случится у Порога…

— Если ты придёшь к Порогу, — сказала Ярина, — он позовёт. Там. Сразу.

Кассиан замолчал.

— Ты обещал, — сказала она. — У весов. «Однажды. Когда позову. Кого назову. Куда скажу». Ты не знаешь когда. Не знаешь кого. Не знаешь куда. — Она смотрела на него. — А где у него дверь, ты знаешь. Под Ордисом. Касс, если ты придёшь туда, где его дверь, ты придёшь к нему сам. Без зова. Как гиря, которая сама прыгнула на чашку.

— А ты?

— А я ему не должна. — Ярина подумала. — То есть должна, но не ему. Пулу. Это другое.

— Пулу?

— Лира сказала. — Она пожала плечами под тулупом. — Она слышит. Я обещала Пулу дописать. Вернуться и дописать, что под городом. Я не говорила вслух, над его столом, когда его уже не было. А ваш мельник — записал.

Кассиан смотрел на неё. Потом медленно вынул руку из-под мышки и протянул.

Ярина взяла.

Рука была холодная. Не как с мороза — как камень в реке. Гладкая, сухая, с синеватыми кончиками пальцев. Ярина держала её в своей — тёплой, в чернилах, с обкусанным ногтем на большом пальце — и чувствовала, как холод уходит в неё, в её ладонь, в запястье, медленно, ровно, как вода в песок.

— Я не чувствую, — сказал Кассиан. — Что ты тёплая. Вижу. Не чувствую.

— Я чувствую, — сказала Ярина. — Что ты холодный. Этого хватит. На двоих.

Они стояли так. Над березняком вспыхнуло. Ярина не считала до грома — она знала, что Кассиан считает.

— Я напишу тебе, — сказала она. — Из Ордиса. Голубем, через Вельсару, через кого угодно. Каждый день. Что видела.

— Ты всегда пишешь, что видела.

— Тебе — буду писать и то, что не видела. — Ярина помолчала. — Что думаю. Это я никому не пишу.

Гром пришёл — не скоро, глухой и низкий, как обвал в дальних горах.

Кассиан не отнял руку.

— Двадцать пять, — сказал он вдруг.

— Что?

— Если бы Тальберт сейчас считал. — Он смотрел на их руки. — Я чувствую. Не тепло. Сердце. Медленнее, когда ты держишь. Как будто ему некуда спешить.

Ярина сжала его пальцы.

— Ешь, — сказала она. — Утром. Хлеб. Лира испечёт. Двадцать пять — мало.

— Ты как Лира.

— Я лучше Лиры, — сказала Ярина. — Я записываю.

* * *

Утром она открыла журнал.

На странице, где у Штиля оставила пустую строку, под «Один» и «И второй», — пустая строка всё ещё была. Ярина смотрела на неё долго. Потом перевернула лист — на чистую страницу — и написала:

Сто семьдесят четвёртый день. Решила: Ордис. К Аме — за тем, что держит её сны. Спрошу у Илиссы Вандерграф пропуск на Дороге. Касс против. Ильяс говорит: запоминай имена. Государь просил стать хронистом совета — отказала. Не продаётся.

Подумала. И ниже, мелко, как пишут на полях:

Должна Пулу. Вернуться. Дописать.

И ещё ниже — крупно, твёрдо, как Касс в Штиле, когда сказал заранее, что положит и встанет:

Записано до.

Глава седьмая
Ничья вода

Дарен. Дорога у Сивого мыса, берег Кордара. Сто восемьдесят пятый — сто восемьдесят шестой дни.

На воде Дарен считал.

Не губами — он отучил себя от этого на «Верной», где Рена однажды сказала ему, что он шепчет, как монах над чётками, и матросы думают, что он молится о спасении. Теперь он считал в уме, ровно, как считал ступени на лестнице Каменного Трона: сто сорок четыре, и на каждой сороковой — передышка. Здесь ступеней не было. Была палуба куттера, узкая, мокрая, с наледью у бортов, и она поднималась и опускалась, и Дарен считал, сколько раз.

Куттер назывался «Тихоня». Ланге сказал это так, будто извинялся: «Дом любит, чтобы его суда не привлекали внимания, государь». Ржавый косой парус. Серебряная чаша на синем вымпеле. Двое матросов, братья, Хиддо и Яспер, белобрысые, молчаливые, похожие друг на друга, как два весла. Ланге на корме, в синем кафтане, поверх кафтана — тюленья куртка, на носу очки, и очки запотевали каждую минуту. И Рена у румпеля.

Рена вела.

Это было видно. Хиддо и Яспер ходили на «Тихоне» девять лет, и всё равно, когда Рена сказала «держать на мыс», они посмотрели на Ланге, а Ланге сказал: «Делайте, как говорит капитан», — и больше они на Ланге не смотрели. Рена стояла у румпеля, расставив ноги, в своей кожаной куртке, с трубкой в зубах, нераскуренной, и левой рукой держала румпель, а правой — то, что было у неё под жилетом. Иногда она опускала глаза к груди, как опускают глаза к письму, которое знаешь наизусть, но проверяешь.

Ярина сидела на бухте каната у мачты, закутанная в два платка, с журналом на коленях. Журнал был закрыт. Ярина смотрела на воду.

Дарен тоже смотрел.

Вода здесь была двух цветов.

Ближе к берегу — серая, зимняя, с белой кромкой льда вдоль камней Сивого мыса, с ленивыми пластинами шуги, которые поворачивались на волне, как сухие листья. А дальше — в полукабельтове, может, меньше — шла полоса. Ровная, широкая, тёмная, почти чёрная, гладкая, как будто по ней только что провели ладонью. Она начиналась где-то на востоке, за краем видимого, и уходила на запад, за край видимого, и вдоль всего мыса лежала так близко к берегу, что можно было докинуть камень.

Дорога.

Она двигалась. Это было видно не по волнам — волн на ней почти не было, — а по шуге: льдинка, попав на тёмную полосу, переставала кружиться и шла. Прямо. На запад. Быстро, как идёт по улице человек, которому есть куда спешить.

— Сорок лет её не было, — сказала Рена, не вынимая трубки. — Мать на ней родилась, можно сказать. А я её первый раз увидела в Штиле, когда она уже встала. Теперь — вот. Иди куда хочешь.

— Куда она ведёт? — спросил Дарен.

— Куда надо. — Рена пожала плечом. — Мать говорила: Дорога — не дорога. Дорога — это то, как море хочет. Где Дорога — там море идёт само, а ты только не мешай.

— А ничья она почему?

— Потому что идёт, — сказал Ланге с кормы. — Нельзя владеть тем, что идёт, государь. Так говорит морское право Вельсары, старше дома. Остров — можно, бухту — можно, пролив — можно, если стоишь на обоих берегах. Течение — нельзя. Кто на Дороге — тот на ничьей воде.

Дарен кивнул. Ему это нравилось. Он не стал говорить, что в Кордаре нет морского права, а есть сухопутное, и по сухопутному праву всё, что видно со стены, — государево. Он смотрел на тёмную полосу и думал, что Илисса выбрала место, как выбирают слово в договоре: такое, которое нельзя прочитать двумя способами.

Ярина вдруг сказала, не поворачивая головы:

— Звёзды.

— Что?

— Вчера ночью. Я считала. — Она открыла журнал, перелистнула. — Ковш опять повернулся. На палец. С той ночи, как мы ушли из Штиля, — на три пальца. Пеппи говорит, на Кормовой моряки разучились ходить ночью. Ходят днём, вдоль берега, как сто лет назад. — Она закрыла журнал. — Вчера над мысом была вспышка. Без грома. Я ждала до шестидесяти. Не пришёл.

— Далеко, — сказала Рена.

— Или тихо, — сказала Ярина.

Никто ей не ответил.

* * *

Корвин отпускал его тяжело.

— Хромой государь, — сказал он, стоя у землянки, без шапки, в кожухе нараспашку, — на чужой воде, на чужой лодке, с вельсарским картографом, бабой-капитаншей и девкой с книжкой. Без полка. Без меня.

— Ты на воде блюёшь.

— Блюю, — согласился Корвин. — Поэтому я и не прошусь. Я прошу — возьми Ульфа.

— Илисса пишет: один, или с тем, кому верю больше, чем себе.

— А Ульфу ты не веришь?

— Ульфу я верю. — Дарен подумал. — Себе на воде не верю. Ульф на воде — ещё хуже меня.

Корвин посмотрел на него долгим тяжёлым взглядом, каким смотрел на него пятнадцать лет назад, когда Дарену было тринадцать и он впервые сел на боевого коня, — и ничего не сказал. Потом сунул ему в руку что-то тяжёлое, завёрнутое в тряпку.

Нож. Простой, солдатский, с роговой рукоятью.

— Это не для них, — сказал Корвин. — Это чтобы руки было куда деть. Ты, когда думаешь, руки ломаешь. Видно.

Нож лежал теперь у Дарена за голенищем здорового сапога. Руки были сложены на коленях. Он не ломал их. Он считал.

* * *

«Серебряные весы» пришли к полудню.

Сначала — мачты из-за мыса, три, высокие, с убранными парусами. Потом — корпус: длинный, тёмно-синий, с серебряной полосой по борту, с резной чашей весов на носу. Флагман совета домов. Он шёл не по Дороге — рядом, по серой воде, на вёслах, медленно, и остановился в двух кабельтовых от «Тихони», не пересекая тёмной полосы. С борта спустили шлюпку.

— Как в бухте у Ордиса, — сказала Ярина.

— Как у Кормовой, — сказал Дарен.

Он помнил. Две лодки посреди воды, без магистров. Летом у Ордиса она была в сером паломническом балахоне, отец был уже мёртв, и Дарен думал, что знает, чья рука держала кинжал; он не знал ещё, что учитель, который вязал ему узлы на переплёте молитвенника, будет стоять у Штиля и гореть, как фонарь с перелитым маслом. Тогда он думал, что мир — это бумага, которую можно подписать.

Шлюпка подошла и встала у самой кромки Дороги, с серой стороны. В ней сидели четверо гребцов в синих куртках, на корме — Илисса, на носу — высокий седой человек в синем мундире с серебром.

— Капитан, — сказала Илисса через воду, громко, ровно, на чистом кордарском, с мягким «р». — Разрешите перейти?

— На Дорогу? — Рена вынула трубку изо рта. — Переходите. Она ничья.

Гребцы сделали два гребка, и шлюпка вошла на тёмную полосу, и её тут же повело — на запад, мягко, настойчиво. Яспер бросил конец. Один из гребцов поймал его и закрепил на шлюпке. Хиддо выбрал слабину и помог подтянуть её к борту «Тихони», и обе лодки пошли вместе, по течению, медленно, вдоль Сивого мыса, мимо белых камней, — и Дарен подумал, что это первые переговоры в его жизни, на которых стол сам куда-то идёт.

Илисса поднялась на борт сама. Ведекинд — следом, тяжело, хватаясь за ванты. Гребцы остались в шлюпке.

* * *

Она изменилась.

Дарен видел её прежде трижды. Летом в Северном монастыре и позже в лодке у Ордиса — серый паломнический балахон, платок, узкое умное лицо, светлые почти бесцветные глаза, чернила на пальцах. Осенью — на Кормовой Скале: синий плащ, волосы убраны туго, как у моряков, голос, который не повышался. Теперь — тот же плащ. Те же глаза. Те же чернила на пальцах. Но под глазами — синее, как от бессонницы, и складка у губ, которая раньше была жёсткой, теперь была просто усталой. Она похудела. Так худеют не от голода, а от того, что каждый день держат лицо.

— Государь, — сказала она и чуть наклонила голову.

— Я не коронован.

— Знаю. Мой отец не глава совета домов. Он глава дома, у которого больше всех голосов. Мы оба не те, кем нас называют. — Она чуть улыбнулась. Не тепло. Устало. — Так проще разговаривать.

Она посмотрела на Ярину. На Рену. На Ланге.

— Ланге, — сказала она. — Спасибо.

— Госпожа. — Ланге снял шапку.

— Вы — Сновидица, — сказала Илисса Ярине. — Из Ордиса. Мне о вас писали. Вы видели, как он сгорел.

— Видела, — сказала Ярина.

— Запишите сегодня всё, — сказала Илисса. — Я хочу, чтобы было где-то записано. Не в доме. Где-нибудь, где не улыбаются.

Ярина открыла журнал.

Они сели в каюте «Тихони» — тесной, низкой, пахнущей лавандой, смолой и мокрой шерстью. Ланге уступил свой рундук Илиссе, сам сел у двери на пол, по-портовому, поджав ноги. Ведекинд не сел — остался стоять у трапа, пригнув голову под бимсом, как стоят часовые. Рена — у второй двери, на палубу, чтобы видеть воду. Ярина — на ящике в углу, с журналом. Дарен — напротив Илиссы, вытянув больное колено под столом.

Колено болело. Ровно, тупо, своё. Он был рад.

— Сначала руки, — сказал он.

Илисса подняла брови.

Дарен положил на стол свои — ладонями вверх. Чистые.

— В Кордаре теперь так начинают, — сказал он. — С осени. Через Солёную Гавань прошёл туман. Тот, кто вышел из-под Штиля, взыскал долги. У всех, кто был должен, — пятно. Вот здесь. — Он коснулся середины своей ладони. — Клятвы — тоже. Мой советник из Аппеля не может назвать меня по имени. Только «государь». Двести лет назад его город клялся моему пращуру.

Илисса посмотрела на его ладони. Потом медленно сняла перчатки и положила свои рядом. Узкие, белые, с чернильным пятном на среднем пальце правой. Чистые.

— Через Вельсару он не шёл, — сказала она. — Мы видели туман с Кормовой. Он шёл с юга на север, мимо, по краю моря, как идёт гроза стороной. Острова дрожали. Голуби на Кормовой три дня не садились на скалу. — Она помолчала. — Мой отец сказал, глядя на него: «Он холодный. Ему надо помочь». И улыбнулся.

Ведекинд у трапа шевельнулся.

— Я свои тоже покажу, — сказал он хрипло, — если надо.

— Не надо, адмирал.

— Надо, — сказал Ведекинд и показал. Широкие, тёмные, со шрамом поперёк левой. Чистые. — Сорок лет на флоте, — сказал он. — Долгов нет. Клятва одна — совету домов. — Он посмотрел на свои ладони, как смотрят на карту, где кончилась суша. — Совету, который теперь говорит одним голосом. Интересно, что он сделает с моей клятвой, когда этот голос велит мне то, чего я не сделаю.

Ярина писала.

* * *

— Расскажите, — сказал Дарен.

Илисса рассказала.

Она говорила, как пишут отчёт: без прилагательных, по пунктам, с датами. Дарен любил так слушать. Он видел, что она это знает, и говорит так нарочно, — и это тоже было не плохо.

В ночь, когда у Штиля сгорел магистр, — сто сороковая ночь, — совет домов собрался в Большой зале на Весовой набережной. Не созывали. Пришли сами. Все двенадцать глав домов, кроме двоих в море. Илисса знает, потому что не спала. Отец встал с постели в полночь, оделся, как на совет, и вышел. Она пошла следом. В Большой зале горели все люстры. Главы домов сидели за столом, на своих местах, и молчали. Потом все разом посмотрели на север. На окна. Там, за окнами, над морем, висела белая точка.

— И он заговорил, — сказала Илисса. — Не магистр. Магистра уже не было. Он заговорил ими. Всеми сразу. Одним голосом. «Свет помнит всё».

— Что он сказал?

— Что ему холодно. — Илисса смотрела на свои руки. — Что его ударили, и он ранен, и что тот, кто вышел из-под моря, — враг всего живого, который пришёл забрать долги, а долги у всех. Что надо держаться вместе. Тепло к теплу. Что он защитит. Что он всегда защищал. — Она подняла глаза. — Что у дома Вандерграф есть то, что ему нужно. И что, когда придёт время, мы отдадим. Потому что ему холодно без этого. «Ему холодно без неё». Отец сказал это вслух. Старый Вилкен — одновременно с ним. Слово в слово.

— Когда придёт время, — повторил Дарен.

— Он воюет, — сказала Илисса. — Ему некогда. Пока. — Она помолчала. — Весной из Рассвета придёт белый корабль. Так говорит совет. Не говорит — знает. Как знают, что

весной придёт вода. Белый корабль придёт в Хоогланд и заберёт то, что лежит под конторой. На хранение.

Дарен закрыл глаза на миг.

На хранение. Так магистр взял у Ильзе Варн Компас Истины. «На хранение». И Компас стоял у него в ящике, и крутился без направления, а Дарен столько лет ничего не видел.

— Что это за вещь? — спросил он.

Илисса ответила не сразу.

— Ланге вам рассказал, — сказала она. Не спросила.

— Капитану Тарвес. Капитан — мне.

— Тогда вы знаете, что Хоогланд не на граните.

— Знаю.

— А как она к нам попала — Ланге не знает. — Илисса посмотрела на Ланге. Тот сидел у двери, поджав ноги, и смотрел в пол. — Знают трое. Отец. Старый Вилкен. И я — потому что прочитала. — Она вынула из-за пазухи плоский пакет в вощёной ткани и положила на стол. Не развернула. — Сорок один год назад, за год до того, как поплыли острова, мой дед купил на Тирессе, у старьёвщика в порту Кельма, камень. Тёмный, тяжёлый, размером с голову ребёнка, с дыркой посередине, как у якоря, через которую можно продеть руку. Старьёвщик сказал, что его вытащили сетью у Провала, где земля треснула, когда умер бог земли. Мой дед был картограф. Как Ланге. Он купил камень за три марки — потому что тот был тяжелее, чем должен. Положил его в подвал под конторой, как диковину. И забыл. — Она тронула пакет пальцем. — Это его опись. Его рукой. «Камень с Провала. Три марки. Тяжелее свинца. Не двигается, если положить на наклонный стол». Через год поплыли острова. Все. Кроме нашего.

— И ваш дед догадался.

— Мой дед догадался через шесть лет, — сказала Илисса. — Когда его брат, мой двоюродный дед, взял камень, чтобы показать на Кормовой учёным людям, — и Хоогланд за одну ночь отошёл на полмили. Склады в гавани ушли под воду, сто сорок человек утонули в своих домах. Брата вернули с Кормовой с камнем на третий день. Остров встал. Там, где стоял. Не на старое место — на новое, в полумиле. Там и стоит тридцать пять лет. — Она помолчала. — Об этом в Вельсаре знают как о «большом прибое». Его так записали. В книгах дома — записано иначе. В описи деда — третья запись: «Не трогать. Никогда. Ни ради чего».

В каюте было тихо. Хлопнул парус. «Тихоня» шла по Дороге, и Дарен чувствовал это не глазами — коленом: палуба не качалась, как качалась на серой воде. Она шла. Ровно, как идёт телега по хорошей дороге.

— Вы прочитали, — сказал он.

— Я прочитала. Мне было шестнадцать. — Илисса чуть улыбнулась. — Я читаю всё, что лежит в доме. До последней строки. Вы знаете, как это бывает.

— Знаю.

— Отец не знает, что я знаю. Знал, пока не стал… таким. Теперь, наверное, знает. Он теперь знает всё, что знает тот, кто говорит через него. — Она смотрела на Дарена прямо. — Государь, я не спрашиваю, что нам делать. Я спрашиваю, что вы будете делать, если эта вещь окажется у вас.

* * *

Дарен не ответил сразу.

Он знал, что ответить. Он читал это — не в книге, а в журнале Ярины, крупными буквами, углём: что говорил в Штиле голос из кости, то, что Ярина записала за Кассианом после вторых врат. Что Варн сказала на совете о том, наверху, который собирает. Что сказала Лира, когда у неё спросили, где он: «Там, наверху. Они бьются». Ключ открывает. Астролябия ука-

зывает. Карта ведёт. Компас проверяет. И пятое, о котором Кассиан сказал Дарену один раз, ночью, у проруби, без голоса: «Морвен знал, что нужно. Он видел, что держит дверь, чтобы она не закрылась у тебя за спиной. Он не знал, где оно».

Теперь знали.

— Есть дорога наверх, — сказал Дарен. — Туда, где он. Белая точка. Её строили до Девяти. Чтобы подняться, нужны пять вещей. Четыре — у нас. Пятая — та, что держит проход открытым. Чтобы не закрылся за спиной.

Илисса не шевельнулась.

— Вы хотите подняться к нему.

— Я не хочу, — сказал Дарен честно. — Я хромой и плохо переношу высоту. Кто пойдёт — не я решаю. Не я один. — Он помолчал. — Но если не пойдёт никто, весной в Хоогланд придёт белый корабль и заберёт её. И у него будет то, что держит. А у нас — ничего.

— А если её заберёте вы — Хоогланд поплывёт.

— Да.

— Шестьдесят тысяч человек, государь. Гавань, склады, верфи. Конторы всех двенадцати домов. Архивы. Флот совета, который стоит у Весовой набережной, потому что больше ему стоять негде. Всё, что у Вельсары осталось твёрдого, — это Хоогланд. Всё остальное плывёт сорок лет.

— Знаю.

— Если остров поплывёт, — сказала Илисса очень ровно, — Вельсаре нужна будет земля. Настоящая, которая стоит. Совет домов проголосует за войну раньше, чем остров отойдёт на милю. Даже тёплый. Особенно тёплый. Тиресс — до Сухой гряды. Потом ваш берег. Солёная Гавань. Восточная Марка — та её часть, которая не лежит в двух местах сразу. — Она чуть наклонилась. — Мы воюем на Тирессе пятнадцать лет, государь, потому что нам нужна земля, которая не плывёт. А у нас ещё есть Хоогланд. Представьте, что будет, когда Хоогланда не станет.

Дарен представлял. Он пять лет правил Восточной Маркой, где земля уходит из-под ног. Он знал, что люди делают, когда под ними перестаёт стоять.

— Это цена, — сказал он.

— Это цена мира, — сказала Илисса. — Если я отдам вам вещь, мира не будет. Будет война за землю. Если не отдам — весной её отдаст отец. И мира тоже не будет. Будет он. Тёплый. Везде.

Ведекинд у трапа кашлянул.

— Есть третий путь, — сказал он. — Отдать. И дать землю.

Все посмотрели на него.

— Я сорок лет на флоте, — сказал Ведекинд. — Я знаю, сколько стоит гавань. Флоту нужна гавань, которая стоит. Не остров. Гавань. Кордару нужен сильный флот. Пустите нас в Солёную Гавань. На ваш берег. По договору. С пошлиной, с правом, на сто лет. — Он смотрел на Дарена из-под седых бровей. — Когда Хоогланд поплывёт — дома пойдут не на войну. Дома пойдут туда, где их пустили. Купцы не воюют, если им есть где торговать. Воюют, когда негде.

Дарен смотрел на него. Потом — на Илиссу.

— Вы это обсуждали.

— Мы обсуждали это сорок дней, — сказала Илисса. — Каждую ночь. На «Весах», в каюте адмирала, при одной свече, шёпотом, как заговорщики. Мы и есть заговорщики, государь. Двое против совета. — Она помолчала. — Сто лет Солёной Гавани. Половина пристаней. Склады у Соляного рынка. Свой закон на своих кораблях. Это цена.

— Солёная Гавань не моя, — сказал Дарен.

— А чья?

— Кордара. Не мой отец её завоевал. Не я. Её строили триста лет люди, которые там живут. — Он смотрел на свои руки. — Сейчас там пол-города ходит с пятнами. Ростовщик наложил на себя руки. Матрос не может поднять рук. Вдова не может открыть рта. Мне эти люди сорок дней пишут письма. Я не могу их продать. Даже за мир.

— Не продать, — сказала Илисса. — Пустить.

— Это одно и то же, если не спросить их.

Илисса долго молчала.

— Тогда спросите, — сказала она.

— Я спрошу, — сказал Дарен. — У совета провинций. Весной. Там будет Солёная Гавань. Там будет Аппель, и Озёрный, и Ласк, и Марка. — Он поднял глаза. — Я не коронован, госпожа Вандерграф. Я сказал им: «Корона потом. Когда прочитаем, что под ней написано». Я не могу отдать то, чего у меня нет. Могу только прочитать вслух. Им. И пусть решают.

— А если не решат?

— Тогда не решат.

— А белый корабль придёт весной, — сказала Илисса.

— Придёт.

Они смотрели друг на друга через стол. Две пары чистых ладоней лежали на столе, как карты, которые ещё не открыли.

Ярина в углу писала. Уголь скрипел.

* * *

Рена вышла на палубу первой. Дарен — следом: ему нужно было встать. Колено затекло.

Солнце садилось. Зимнее, низкое, красное, оно стояло над западным краем Дороги, и Дорога уходила прямо в него, как улица, в конце которой горит костёр. Сивый мыс остался позади, белый, в шуге. Впереди — открытая вода.

Рена стояла у борта и смотрела не на солнце. На запад и чуть к югу. Правая рука — под жилетом.

— Гудит? — спросил Дарен.

— Гудит, — сказала Рена. Не стала врать. — Мы идём по ней. По той же. На Сель — по этой. Ещё день по Дороге, потом поворот, и… — Она замолчала.

— Илисса знает?

— Ланге сказал ей. Она на меня посмотрела. Там, в каюте. Один раз. — Рена усмехнулась. — Она хорошо смотрит. Как вы. Читает. Я видела, что она прочитала: «Этой — тоже не надо предлагать». И не предложила.

Дарен стоял рядом. Колено болело. Над головой хлопнул парус.

— Капитан, — сказал он. — Если бы вещь лежала под Селью…

— Не надо, государь.

— …то Хоогланд плыл бы, а Сель стоял.

— Не надо, — сказала Рена громче. Она повернулась к нему, и лицо у неё было весёлое, злое, мокрое от брызг. — Знаете, что мне сказал Тур? «Не покупай». Редко он мне перечит — и вот так. «Не покупай». Я не покупаю, государь. Я даже не смотрю. — Она отвернулась. — Я смотрю, — сказала она тише. — Каждую ночь. На гвоздь. Это хуже.

* * *

Илисса вышла на палубу, когда солнце уже ушло, и стало серо и холодно, и на севере, далеко над морем, поднялась белая точка. Она встала рядом с Дареном у борта.

— Ваша Сновидица, — сказала она. — Просит пропуск в Ордис.

— Я обещал спросить сам.

— Она спросила сама. — Илисса чуть улыбнулась. — Пока вы с капитаном ругались на ветру. Она сказала: «Государь обещал спросить за меня. Я не хочу, чтобы он платил. Даже словом». — Илисса помолчала. — Зачем ей в Ордис, она не сказала. Сказала: «Там то, что я должна увидеть сама, чтобы записать». Я спросила, связано ли это с тем, что под городом. Она сказала: «Всё в Ордисе связано с тем, что под городом».

— И вы дали?

Илисса вынула из рукава сложенный вчетверо лист и протянула ему. Дарен развернул. Ровный женский почерк. Печать дома — чаша весов на синем воске.

Наместнику дома Вандерграф в Ордисе, капитану Хаверкампу. Подательница сего, госпожа Ярина Соль, архивистка Палаты Весов, — под моей рукой. Пропустить, не досматривать, не задерживать, дать комнату, если попросит. Не докладывать в Хоогланд. И. В.

— Хаверкамп — человек адмирала, — сказала Илисса. — Он не тёплый. Он восемь лет стоял с эскадрой у Ордиса и не мог взять город. Его не любят в доме. Поэтому я и поставила его туда. — Она помолчала. — В Ордисе есть Солнечный дом. Пятеро белых. Они улыбаются. Половина города ходит к ним греться. Хаверкамп пишет: «Каждую неделю — на десяток больше». Пусть ваша Сновидица знает.

— Последняя строка, — сказал Дарен. — «Не докладывать в Хоогланд».

— Да.

— Вы прячете её от своего отца.

— Я прячу её от того, кто говорит моим отцом. — Илисса смотрела на белую точку. — Государь, я десять лет учусь читать отца. Его лицо, его руки, его письма. Я знала, когда он врёт купцам, а когда — себе. Я знала, когда он доволен, по тому, как он ставит чашку на блюдце. Теперь он ставит чашку ровно. Всегда. — Она помолчала. — Я больше не могу его прочитать. Там нечего читать. Там — одна строка на всех.

Дарен молчал.

Он думал о магистре. О пледе в библиотеке, когда ему было семь и он заснул над книгой, а проснулся укрытым — и двадцать лет думал, что это была мать. «Нет. Не мама. Вы». — «Да. Я».

— Я знаю, — сказал он.

— Знаю, что знаете. Поэтому — вам.

Она повернулась к нему. В сумерках глаза у неё были совсем бесцветные, как вода в стакане.

— Я ничего не обещаю, — сказала она. — Я не отдам вам вещь сегодня. Я не могу. Если я выну её из-под конторы без того, чтобы знать, куда пойдут шестьдесят тысяч человек, — я сделаю то же, что сделал мой двоюродный дед. Сто сорок человек в домах. Я не буду этого делать. — Она помолчала. — Спросите ваш совет. Весной. Про Солёную Гавань. Если скажут «да» — я приду к вам сама. С вещью. Если «нет» — значит, «нет».

— А белый корабль?

— Белый корабль придёт, когда придёт, — сказала Илисса. — Я буду в Хоогланде. В подвале под конторой. Я знаю, где ключ. — Она чуть улыбнулась. — Я не умею драться, государь. Но я умею стоять в двери. Это, говорят, тоже кое-что.

* * *

Они расстались ночью, на Дороге, в дне хода к западу от Сивого мыса.

Шлюпку отвязали, гребцы взялись за вёсла, вывели её на серую воду — и Дорога её отпустила, мягко, как отпускает руку человек, который не хочет держать. «Серебряные весы» стояли в двух кабельтовых с фонарём на корме. Ведекинд в шлюпке поднял руку — не помахал,

просто поднял, как поднимают на флоте вместо «всё ясно». Илисса сидела на корме, прямая, в синем плаще, и не оборачивалась.

Ланге проводил её глазами. Потом снял очки и долго протирал их лавандовым платком.

— Она сорок дней не спала, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Из дома пишут: свеча в её окне. Каждую ночь. До утра.

— Почему вы с ней? — спросил Дарен. — Не с отцом.

Ланге надел очки.

— Потому что её отцу прежде хватало знать, что вещь лежит под конторой и держит остров, — сказал он. — А она сорок дней смотрит на неё и не может уснуть. Я картограф, государь. Я верю тем, кто не спит над картой. Тем, кто спит спокойно, — не верю.

Рена переложила румпель. «Тихоня» медленно, с трудом, выходила с Дороги на серую воду — против течения, назад к мысу. Дорога не держала. Только отпускала неохотно.

Дарен сел на бухту каната рядом с Яриной. Она сидела с закрытым журналом на коленях. Смотрела на воду.

— Записали? — спросил он.

— Всё. — Она помолчала. — Государь, мне кажется, она не лгала. Я слушала, как она говорит, — так, как учил Пул: не что говорят, а как дышат, когда говорят. Она дышала ровно. Только один раз — нет.

— Когда?

— Когда сказала: «Я умею стоять в двери». — Ярина смотрела на воду. — Она не знает, умеет ли. Она надеется.

Дарен вынул из-за пазухи молитвенник. В переплёте — черновик мира, листы с Кормовой. Между страницами — бирка. Он раскрыл его на чистой странице, обмакнул перо в походную чернильницу, которую носил на шнурке, как Кассиан — кость, и написал:

Сто восемьдесят шестой. Дорога. Вещь — камень с Провала, купленный за три марки. Держит Хоогланд. Весной за ней придёт белый корабль. Цена мира — остров. Не наш. Цена второго мира — Солёная Гавань. Наша. Спросить. Не продавать.

Подумал. И ниже:

Илисса будет стоять в двери. Она не умеет. Я тоже не умею. Корвин говорит — я ломаю руки, когда думаю.

Он посмотрел на свои руки. Они лежали на молитвеннике. Спокойно. Нож Корвина был за голенищем. Он не вынимал его ни разу.

На севере, над белой точкой, вспыхнуло. Белое, беззвучное. Ярина начала считать — губами, как он когда-то. Дарен считал вместе с ней, молча.

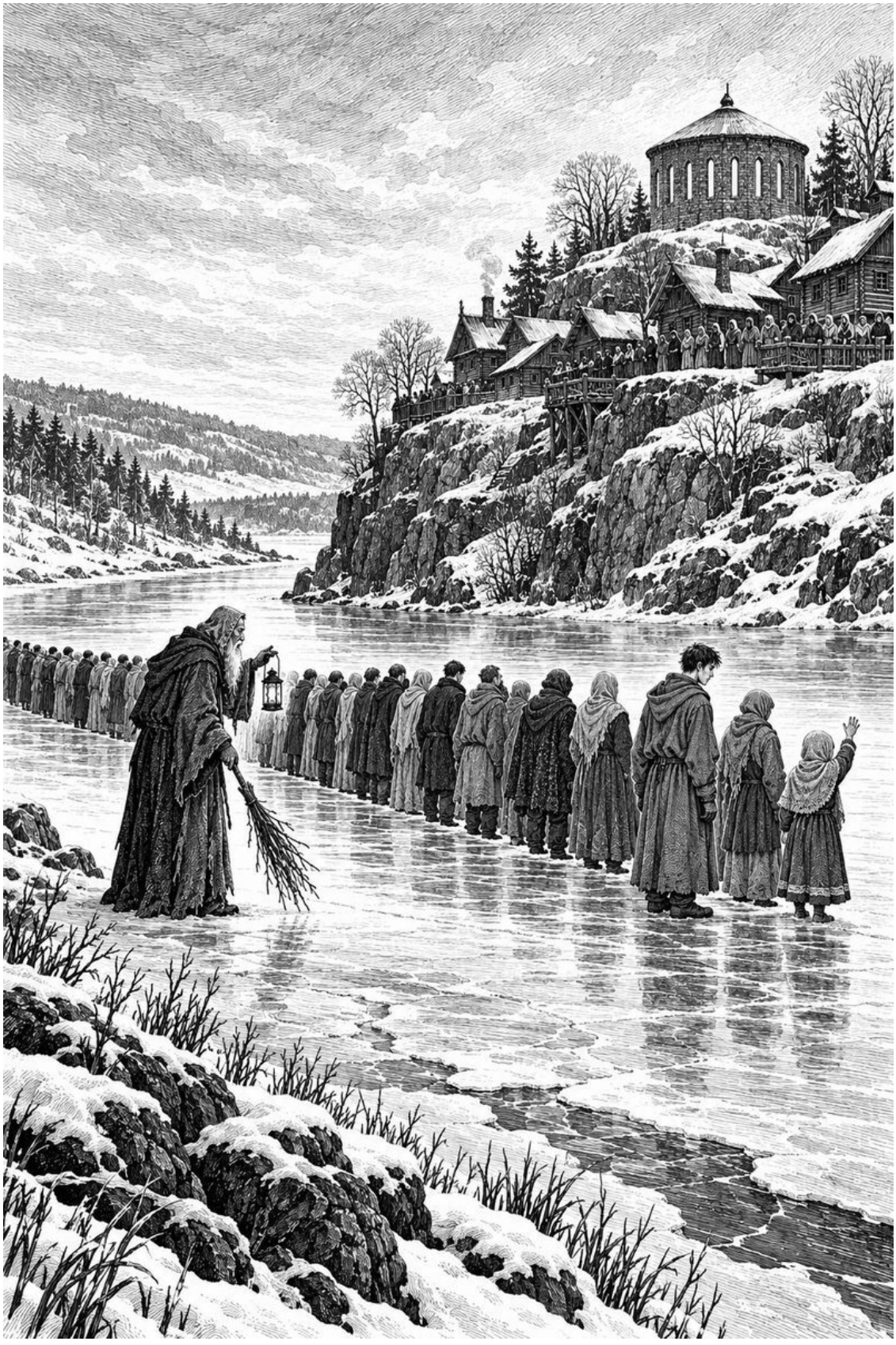
На сорока трёх пришёл гром. Глухой, далёкий, как будто где-то за краем мира уронили на каменный пол очень тяжёлую гирю.

— Ближе, — сказала Ярина.

— Ближе, — сказал Дарен.

Он закрыл молитвенник. Колено болело. Своё.

Глава восьмая
Десятина



Кассиан. Студёный Перевоз, север Кордара. Сто семьдесят седьмой — сто восемьдесят шестой дни.

Сын головы Студёного Перевоза добрался до лагеря на чужой лошади и без шапки.

Ему было лет семнадцать. Уши у него были белые, обмороженные, и он не замечал этого, — стоял в шатре совета перед Корвином, держал в руках шапку, которую ему дали у ворот, и не надевал. Говорил быстро, сбиваясь, будто боялся, что, если остановится, — забудет.

Кассиан стоял у входа. Его позвали, не сказав зачем. Он понял, когда парень сказал: «Они стоят».

— Кто стоит? — спросил Корвин.

— Наши. — Парень облизнул обветренные губы. — Которых взяли. Мать их видит. Сестра видит. Не все — кто сильно горюет. Стоят на льду. На перевозе. Где зимой санный путь через реку. В ряд. Лицом на север. Неделю уже. Не уходят.

Корвин посмотрел на Кассиана.

Кассиан молчал. Он знал, что такое «стоят». Он полгода жил среди тех, кто стоит: на кладбище в Нижнем Вельде, в Ордисе на каждом углу, на краю Штиля, на воде. Они стояли, потому что дверь была закрыта. Теперь дверь была открыта. Он сам её открыл — у столба, в сердце Штиля, выдохом «как железо». Все, кто стоял, — пошли. Весь мир выдохнул.

Если кто-то снова стоит — значит, их держат.

— Сколько взяли? — спросил он.

Парень посмотрел на него — на его рот, на то, что изо рта не шёл пар, — и отступил на полшага.

— Каждого десятого, — сказал он. — Восемьдесят два человека. У нас в Перевозе восемьсот двадцать было. По переписи. — Он замолчал. Потом добавил, совсем тихо: — Ровно. Отец пересчитал. Восемьсот двадцать — восемьдесят два. Ровно десятая часть.

* * *

Лира поехала.

Кассиан не хотел. Он сказал «нет» у печей, при Агнешке, при бабах, и Лира не стала спорить при всех. Она вытерла руки о передник, сняла его, сложила, отдала Агнешке и пошла за Кассианом к реке, — и только у проруби, где сидел только Тальберт, сказала:

— Ты их не услышишь.

— Увижу.

— Увидишь, что стоят. — Лира смотрела на чёрную воду в полынье. — А почему стоят — не услышишь. Ты его не слышишь, Касс. Только когда он сам говорит. А я — всё время.

— Там его мера.

— Я его мера, — сказала Лира спокойно. — Я тебе говорила. Ты где — там и я. Он сам так сказал. Две гири, одна чашка.

Тальберт, сидевший на ведре в трёх шагах, протёр очки пальцем и сказал, не поднимая головы:

— Пусть едет. Я тоже поеду. Мне шестьдесят три года, я никогда не видел, как мёртвых держат за долги. Интересно.

Корвин дал сани, две лошади, Рольфа — того самого, пятнадцатилетнего, который водил обоз в Ракитное, — и пятерых солдат. Сказал Рольфу при всех: «Если послушник станет синим — вези назад. Хоть на руках». Рольф кивнул так серьёзно, что Кассиан не стал спорить.

Ехали четыре дня. На север, по льду реки Студёной, потом по зимнику через лес, потом снова по реке. Ночевали в пустых избах лесорубов. Лира спала, прижавшись к Тальберту, — у старика было тепло, у Кассиана нет. Кассиан не спал. Сидел у печи, которую топил Рольф, и смотрел в огонь. Огонь был жёлтый, яркий, живой. Кассиан знал, что он горячий. Видел.

На третью ночь Лира проснулась и сказала в темноте:

— Он считает быстрее.

— Кто?

— Он. — Лира лежала с открытыми глазами, смотрела в потолок. — Раньше было — гиря, пауза, гиря. Потом — гиря-гиря-пауза. Теперь — гиря-гиря-гиря. Без пауз. Как будто торопится.

— Почему?

— Не знаю. — Она помолчала. — Наверху громче стало. Там бьют. Он ест, Касс. Меру ест. Как ты хлеб, когда долго не ел. Ему надо много.

Кассиан смотрел в огонь.

— Перевоз, — сказал он.

— Перевоз — это хлеб, — сказала Лира. И закрыла глаза.

* * *

Студёный Перевоз стоял на высоком берегу, над излучиной, там, где летом через реку ходил паром, а зимой ездили по льду. Деревянный город, большой для севера: частокол, две улицы вдоль реки, одна вверх по склону, к холму, на холме — каменный храм с девятью узкими окнами. Дым из труб. Собаки. Всё как везде.

Только тихо.

Кассиан понял это, когда сани въехали в ворота. Город был живой, — дым шёл, бабы стояли у колодца, мужик колол дрова у забора, — и все молчали. Не шептались, не переговаривались, не кричали на детей. Бабы у колодца смотрели на сани и не говорили ничего. Мужик с колуном опустил колун и смотрел.

На воротах дома, мимо которого проехали, висел чёрный платок. На следующем — тоже. Через три дома — снова.

— Каждого десятого, — сказала Лира, не поворачивая головы. — Человека.

Голова Студёного Перевоза, Ян Брюль, вышел встречать сам — грузный, седой, в овчинном тулупе, с лицом, которое неделю не спало. Обнял сына. Посмотрел на Кассиана — долго. На пар, которого не было.

— Ты тот, — сказал он. — Из лагеря. Который у Штиля.

— Я.

— Говорят, ты дверь открыл. Мёртвым.

— Открыл.

Ян Брюль кивнул медленно.

— А наши не идут, — сказал он. — Почему?

* * *

Он рассказал, пока бабы ставили на стол хлеб и ставили его так, как ставят на поминках.

Туман пришёл на сто семьдесят первый. С юга, по реке, вечером. Серый, сухой, выше леса. Не так, как приходит с реки туман, — не стелился. Шёл. Как идёт человек, если человек может быть выше леса. Остановился над излучиной. Встал.

— И все вышли, — сказал Ян Брюль. — Сами. Я не звал. Никто не звал. Встали на улице. Кто в чём. Бабы в одних рубахах. Дети. Старая Ильза с клюкой. Встали — и ждём. Как на

базаре, когда весовщик перевешивает. И голос. — Он помолчал. — Не снаружи. В голове. У каждого. Мне сын потом говорил — у него тоже. У всех. Одним голосом. «Десятая часть от всего, что даёт река. До скончания долга. Записано». И ещё: «Долг не уплачен семнадцать лет».

— Что за долг? — спросил Тальберт.

Ян Брюль посмотрел на него.

— Вы его не знаете. Его никто не знал. Я сам — только когда открыли сундук. — Он встал, тяжело, пошёл к окну, взял с подоконника что-то, завёрнутое в холстину. Положил на стол. Развернул.

Пергамент. Старый, жёлтый, ломкий, с бурыми печатями внизу — девять печатей, девять знаков.

— Триста двенадцать лет, — сказал Ян Брюль. — Перевоз тогда был три избы. Реку переходили вброд, летом, когда мелко. Храм Девяти на холме дал денег на паром. И на первые амбары. Под запись. — Он ткнул толстым пальцем в строки. — «Перевоз и все, кто в нём живут и жить будут, отдают храму Девяти десятую часть от всего, что даёт река, — рыбой, перевозом, мельницей, торгом, — до скончания долга». Платили. Почти триста лет. Рыбу, зерно, медь. Храм был богатый. Потом… — Он развёл руками. — Семнадцать лет назад пришли белые. Солнечная вера. Говорили — Девять умирают, Девять слабые, один остался, ему и платите. Половина города к белым ушла. Десятину перестали носить. Храм обеднел. Смотритель старый остался, Гуннар Ольт, один, на холме, с девятью окнами. Мы его жалели. Носили ему хлеб. Не десятину — так, хлеб.

— А долг остался, — сказал Тальберт.

— Остался. — Ян Брюль смотрел на пергамент. — Мы не знали. Кто мог знать, что запись триста лет назад кто-то помнит. Девять мертвы. Кому платить?

— Ему, — сказала Лира.

Все посмотрели на неё.

Лира сидела у края стола, в тулупе, с куском хлеба в руке. Не ела. Смотрела на пергамент.

— Он всё помнит, — сказала она. — Всё, что записали. Ему не важно, кому. Он — чтобы ровно. Вы взяли — вы не отдали. Семнадцать лет. А тут — «от всего». — Она помолчала. — «От всего» — это и вы.

В избе было тихо. Только трещало в печи.

— Каждого десятого, — сказал Ян Брюль хрипло.

— Каждого десятого, — сказала Лира. — Он ровно считает. Он по-другому не умеет.

* * *

Восемьдесят два человека умерли той ночью стоя. Не упали — сели. Ян Брюль говорил, и голос у него ломался: сели, как садятся старики на завалинку вечером, и закрыли глаза. Тихо. Без крика, без судорог. Как засыпают те, кто долго не мог уснуть. Остальные стояли рядом и не могли пошевелиться, пока туман не пошёл дальше, на север.

У бондаря Кляйна взяли жену. У вдовы Ребер — младшего из пятерых. У Яна Брюля все девятеро домашних остались живы. Он сказал это так, будто был виноват.

У старого Гуннара Ольта, смотрителя храма Девяти, взяли внучку. Мару. Одиннадцать лет. Она жила с дедом на холме, потому что мать умерла, а отец ушёл на Тиресс и не вернулся. Носила деду воду. Подметала храм. Мыла девять окон.

— Гуннар не выходит, — сказал Ян Брюль. — Неделю. Сидит в храме. Ему хлеб носят — не берёт. Говорит: «Это я виноват. Я семнадцать лет не напоминал».

* * *

Кассиан пошёл на лёд один.

Нет — не один. Лира шла рядом, держась за его рукав. Тальберт — в трёх шагах позади, с палкой. Рольф — у берега, с солдатами, как ему велели: смотреть, не синеет ли.

Был ранний вечер. Солнце садилось за лес, красное, низкое. Перевоз — санный путь через реку — лежал под высоким берегом широкой утоптанной полосой, с вешками по краям, с ёлками, воткнутыми в снег, чтобы в метель не сбиться. Посреди реки, на этой полосе, стояли они.

Кассиан увидел их сразу.

Восемьдесят два. В ряд — длинный, ровный, от берега до берега, через всю реку, как стоят люди, когда их выстроили для переклички. Лицом на север. Женщины в рубахах, как вышли. Мужики. Старуха с клюкой — старая Ильза. Дети. Неподвижные, серые, прозрачные по краям, как всегда бывают мёртвые в сумерках. Ни один не обернулся.

Он знал этот холод. Он шёл от них ровно, как идёт от реки зимой. Только раньше этот холод тянул его к себе, как сквозняк к двери. А теперь — нет. Теперь Кассиан сам был этот холод. Он стоял на льду среди мёртвых и не чувствовал разницы.

И ещё одно он чувствовал. Под ногами. Подо льдом, под водой, под дном — дальше, глубже, туда, где всегда была река. Та. Настоящая. В тумане, с серой галькой на том берегу. Она была близко. Дверь была открыта. Он слышал, как идёт вода.

А они стояли.

— Они не видят двери, — сказал он.

— Видят, — сказала Лира. — Они на чашке, Касс. Они положены. Их нельзя снять. Пока не скажут.

Кассиан подошёл к женщине рядом с бородатым мужчиной в фартуке. Жена Кляйна. Он встал рядом с ней, как учил Тальберт: не напротив, плечом к плечу. Чтобы человек видел, что он не один.

— Иди, — сказал он тихо. — Вода идёт. Перевоз стоит. Кляйн справится.

Она не шевельнулась.

Не потому, что не слышала. Он видел, что слышит, — у мёртвых это видно по краю, по тому, как дрожит граница. Она слышала. Она хотела идти. И не могла.

Кассиан поднял руку к груди. Кость была на шнурке, под рубахой. Тёплая. Единственное тёплое, что он ещё чувствовал. Он мог бы достать её. Мог бы сыграть — один звук, как у столба.

Он не достал.

Потому что над рекой, над лесом, над всем севером, медленно, как опускается на чашку гиря, лёг голос.

— *Не твоё.*

* * *

Он не слышал его с той ночи у Штиля.

Слышала Лира — каждую ночь, всё время. Кассиан — нет. Голос не говорил с ним с той ночи у Штиля — с цены и «записано». Теперь заговорил снова. Ровно. Без тепла и без злобы. Как говорят весы, если весы умеют говорить.

— *Это мера. Записано. Положено. Не твоё, мальчик Перехода.*

Кассиан стоял на льду. Мертвые стояли рядом. Солнце ушло за лес.

— Отпусти их, — сказал он вслух.

Тальберт за спиной не шевельнулся. Лира сжала его рукав.

— *Взвешено,*— сказал голос. — *Долг не уплачен семнадцать лет. Взыскано. Снять с чашки — будет неровно.*

— Они мёртвые. Тебе не нужны мёртвые.

— *Мне не нужны мёртвые,*— согласился голос. — *Мне нужна мера. Мера взята. Они лежат на чашке, пока чашка не встанет ровно. Это закон. Это мой закон. Ты знаешь его. Ты сам положил гирю у столба.*

— Сколько они будут стоять?

— *Пока не встанет ровно.*

— Когда?

Голос помолчал. Кассиан почувствовал это молчание — не ушами, грудью, как чувствуют, когда в большом доме остановились часы.

— *Ты учишься,*— сказал голос. Почти довольно. — *Ты пришёл провожать моих. Хорошо. Ты проведёшь. Однажды. Кого я назову.*

И ушёл. Не стих — ушёл, как уходит гроза: остался запах и тишина.

Мёртвые стояли.

* * *

— Касс, — сказала Лира.

Он обернулся. Она стояла рядом, маленькая, в тулупе до пят, и смотрела не на него — на мёртвых. Широко открытыми глазами. Не моргая.

— Он сказал — пока не скажут, — сказала она.

— Он сказал — пока не встанет ровно.

— Это одно и то же. — Лира повернулась к нему. — Касс, ты помнишь Агнешку? Её деда? Он ей махал. «До свидания». И её долг — провалился. Его не стало. Он не считает, что отдали даром. Не умеет. — Она говорила быстро, шёпотом. — Тут — долг храму. Дарен пытался отпустить клятву Зеллера — не получилось. Варн не знает почему. А дед Агнешку отпустил. Может, и здесь сможет тот, кому должны.

— Кому должны — тех нет. Девять мертвы.

— Не Девяти, — сказала Лира. — Храму. Тут написано — храму. Храм — есть. На холме. Там девять окон. И там дед сидит. Неделю.

Тальберт за спиной снял очки. Протёр их. Надел.

— Девочка права, — сказал он негромко. — Долг храму. У храма есть смотритель. Смотритель — наследник по записи. Если он скажет…

— Он не скажет, — сказал Кассиан. — Он считает, что виноват.

— Тогда пойди и спроси, — сказал Тальберт. — Ты послушник храма Перехода. Он — смотритель храма Девяти. Вам есть о чём поговорить. — Он помолчал. — Только не обещай ему ничего. Ты уже одному пообещал.

* * *

Храм Девяти на холме был маленький, каменный, холодный — холоднее улицы. Девять узких окон по кругу, под каждым — ниша, в каждой нише — знак: колос, щит, книга, гора, волна, звезда, глаз, арка без створок, солнце. Восемь знаков были стёрты, будто их долго тёрли тряпкой. Солнце — нет. Солнце было медное, прибитое поверх старого знака. По словам Брюля, белые поставили его семнадцать лет назад.

Гуннар Ольт сидел на скамье у стены, под знаком двери.

Старик. Высокий когда-то, теперь согнутый, как старое дерево над водой. Белая борода, лысый череп, на плечах — облезлая ряса смотрителя, когда-то синяя. В руках — веник. Обычный, берёзовый. Он сидел и держал его на коленях, как держат ребёнка.

Он не поднял головы, когда они вошли.

— Мара подметала, — сказал он. — Каждый день. Девять окон мыла. Я говорил: зачем? Никто не ходит. А она — «А вдруг придут».

Кассиан сел рядом. Не напротив. Плечом к плечу.

— Она стоит на льду, — сказал он.

Гуннар медленно повернул голову.

— Ты видишь?

— Вижу. Она в синем платке. С ведром. — Кассиан видел её, когда шёл мимо, — девочка, маленькая, лет одиннадцати, в синем платке, с пустым деревянным ведром в руке, третья с краю от берега. — Она хочет идти. Не может.

— Почему?

— Потому что она положена на чашку. За долг. За ваш долг. Храму.

Гуннар смотрел на него. Губы у него задрожали.

— Я виноват, — сказал он. — Я семнадцать лет… Я мог прийти к голове. С пергаментом. Сказать: вы должны. Платите. А я не пришёл. Мне было стыдно. Девять мертвы, храм пустой, люди ушли к белым, а я — с пергаментом, за десятиной. Как ростовщик. — Он сжал веник. — И вот — взыскали. Не я. Он. Тот, кто считает. А Мара…

— Вы можете их отпустить, — сказал Кассиан.

Гуннар замер.

— Долг — храму, — сказал Кассиан медленно, глядя на стёртые знаки. — Храм — это вы. Вы последний. Если вы скажете, что долга нет, — его нет. Не потому, что заплатили. Потому что отпустили. Даром.

— Даром?

— Даром.

— Я не могу, — сказал Гуннар. — Это не мой долг. Это Девяти. Я — смотритель. Я сторож. Я не хозяин.

Тальберт, стоявший у двери, сказал:

— А где хозяева?

Гуннар не ответил.

— Мертвы, — сказал Тальберт. — Восемь — точно. Девятый — вот. — Он кивнул на медное солнце. — Прибит поверх. Ему ты тоже долг отдашь? — Он подошёл, тяжело опираясь на палку, и остановился перед стариком. — Брат. Я сорок лет провожал мёртвых. Знаешь, чему я научился? Двери никогда не было нашей. Мы только стояли рядом. Храмы — не боги. Храмы — люди, которые стоят рядом. Ты семнадцать лет стоял рядом с пустыми окнами. Это долг. Его ты уплатил. — Он помолчал. — А десятину отпусти. Её не тебе платили. Её тебе — некому отдать.

Гуннар смотрел на него долго.

Потом встал. Медленно, держась за стену. Взял веник. Пошёл к двери.

* * *

Он вышел на лёд в сумерках, в облезлой синей рясе, с веником в руке, — Кассиан шёл рядом, Лира держала Кассиана за рукав. За ними, на берегу, стоял весь Перевоз. Голова Брюль. Бондарь Кляйн. Вдова Ребер. Бабы, дети, мужики. Кто-то нёс фонарь. Никто не говорил.

Гуннар остановился посреди перевоза. Он не видел мёртвых. Он смотрел туда, куда смотрел Кассиан.

— Где она?

— Третья с краю. От берега. В синем платке.

Гуннар повернулся туда. Посмотрел в пустой воздух над льдом.

— Мара, — сказал он.

Потом — громко, на весь лёд, хрипло, как говорят старики, которые давно ни с кем не говорили:

— Я, Гуннар Ольт, смотритель храма Девяти в Студёном Перевозе, последний, кто при храме остался. Долг Перевоза храму — по записи трёхсотдвенадцатилетней давности, десятая часть от всего, что даёт река, — отпускаю. Весь. Без остатка. Никто никому ничего не должен. — Он помолчал. Голос у него сорвался. — Даром. Не надо мне. Храму не надо. Девяти — не надо. Никому не надо. Слышите?

На берегу кто-то всхлипнул.

Кассиан смотрел на мёртвых.

Ничего не случилось. Секунду. Две. Ряд стоял. Восемьдесят два человека лицом на север.

А потом Лира сказала — тихо, удивлённо, как говорят, когда в темноте вдруг нащупал ступеньку там, где её не было:

— Провалилось.

И третья с краю — девочка в синем платке — повернула голову.

* * *

Она повернулась не к Кассиану. К деду. Посмотрела на него — на старика с веником посреди льда, — и Кассиан увидел, как дрожит её край, как он становится мягче, тоньше, как бывает у мёртвых, когда они вспоминают, кто они.

Потом повернулась жена Кляйна. Потом — старуха Ильза. Потом — все. Ряд распался, как распадается строй, когда скомандовали «вольно». Мёртвые стояли на льду и оглядывались — на берег, на дома, на дым из труб, на людей с фонарём, — растерянно, как оглядываются люди, проснувшиеся в чужом месте.

— Сейчас, — сказал Тальберт за спиной. — Сейчас, мальчик. Рядом.

Кассиан пошёл.

Он не доставал кость. Не нужно было. Дверь была открыта, вода шла, — он только встал рядом с девочкой в синем платке, плечом к плечу, и сказал:

— Иди. Вода идёт. Перевоз стоит. Дед справится.

Мара посмотрела на него. Потом — снова на деда. Подняла руку — маленькую, серую, прозрачную по краю — и помахала. Ладонью. Медленно. Как машут с пристани.

И пошла.

Не по льду. Сквозь. Вниз, туда, где под льдом, под водой, под дном шла та река, в тумане, с серой галькой. Кассиан почувствовал, как она уходит, — легко, без рывка, как уходит в песок вода.

За ней — жена Кляйна. Старуха Ильза, без клюки. Младший вдовы Ребер. Все. Восемьдесят два. Кассиан стоял посреди перевоза, и они шли мимо него, по одному, по двое, и каждый — он чувствовал — касался его плечом. Не рукой — краем. Как касаются в толпе, проходя, чтобы сказать: «спасибо, пусти».

Он считал. Он всегда считал.

На восемьдесят втором стало тихо.

* * *

Гуннар Ольт стоял на льду с веником в руке и плакал. Без звука. Слёзы текли по белой бороде и замерзали.

— Она помахала, — сказал Кассиан.

— Я видел, — сказал Гуннар.

Кассиан посмотрел на него.

— Я не видел, — сказал старик. — Я почувствовал. Как будто веник в руке стал лёгкий. — Он посмотрел на веник. — Она всегда подметала с крыльца. И махала мне, когда я шёл с реки. Вот так.

Он поднял руку и помахал. Пустому льду.

На берегу Ян Брюль снял шапку. За ним — другие. Кто-то запел — тихо, неумело, старую песню храма Девяти, которую не пели семнадцать лет, и сбился на втором слове, потому что никто уже не помнил слов. Песня оборвалась. Люди стояли на берегу с фонарём, без шапок, и молчали.

Лира отпустила рукав Кассиана.

— Он не заметил, — сказала она шёпотом.

Кассиан повернулся к ней.

— Он считает, — сказала Лира. — Как считал. Гиря-гиря-гиря. Он думает, что посчитал Перевоз. Что Перевоз — лежит. А Перевоза там нет. Провалился. — Она смотрела на север, где за лесом, высоко, висела белая точка. — Он не знает, Касс. Он думает, что у него на чашке восемьдесят два. А у него — пусто.

— Это плохо?

— Не знаю. — Лира смотрела на север, широко открытыми глазами, не моргая. — Он ест меру. Ему надо много. Если он думает, что съел, а не съел…

Она не договорила.

Кассиан смотрел на неё. На её лицо в сумерках. На глаза — тёмные, отцовские, широко открытые. Она стояла посреди льда и смотрела на север так, как смотрят часовые на стене. Не моргая. Будто боялась что-то пропустить.

— Лира, — сказал он. — Закрой глаза. Холодно.

— Нет, — сказала Лира. — Так лучше слышно. Когда смотрю.

* * *

Они уехали на другой день.

Гуннар Ольт проводил их до ворот. Он нёс веник — забыл поставить. Ян Брюль дал им в дорогу хлеба, сала и мешок мёрзлой клюквы, и сказал, глядя не на Кассиана, а на сани:

— Что мы теперь должны?

— Ничего, — сказал Тальберт. — Вам отпустили.

— Так не бывает.

— Бывает, — сказал Тальберт. — Редко. Запомни, голова, и детям расскажи. Чтоб не пропало.

На обратном пути, на второй день, Тальберт считал Кассиану пульс у полыньи на Студёной. Долго. Потом сказал:

— Двадцать четыре.

— Я ел.

— Знаю. — Тальберт отпустил его запястье. — Ты не играл. Не доставал кость. Ты только стоял рядом. — Он помолчал. — А сердце всё равно медленнее. Ты каждый раз оставляешь там кусок, мальчик. Даже когда просто стоишь.

Кассиан не ответил.

Лира спала в санях, укрытая двумя тулупами, привалившись к Рольфу, который сидел прямо и боялся пошевелиться. Глаза у неё были закрыты. Но веки дрожали — часто, мелко, как дрожат у людей, которые во сне что-то быстро-быстро читают.

Кассиан смотрел на неё и думал о голосе над рекой. *Ты учишься. Ты пришёл провожать моих. Хорошо.*

Он думал о том, что голос знал, что он придёт. Знал раньше, чем Кассиан ступил на лёд. Знал, где он стоит, — у ряда, перед женой бондаря, — знал, что рука потянулась к кости.

Откуда?

Он смотрел на сестру. На её дрожащие веки. На маленькое серое пятно в середине правой ладони, которая лежала поверх тулупа, раскрытая, — пятно, тяжелевшее по ночам на волос.

Он не додумал. Он не хотел додумывать.

Сани шли по льду на юг. Над лесом висела белая точка. Вокруг неё вспыхивало, беззвучно, бледно, и через долгий-долгий счёт приходил гром.

Глава девятая
Первый страж

Ильяс. Ракитное. Сто восемьдесят восьмой — сто девяностый дни.

Ворота Солнечного дома в Ракитном были закрыты двадцать дней.

Ильяс знал это точно, потому что Клеменс считал. Клеменс считал каждый день — зарубками на дверном косяке у Хаасов, где они стояли на постое, — и каждый день ходил к воротам. Стоял. Пел. Свою, деревенскую, про козла, и называл имена. Иногда ворота отвечали: изнутри, из-за толстых дубовых досок, окованных медью, поднималось пение — «Ты видишь нас во тьме, Ты держишь нас в руке», — ровное, слаженное, сто сорок голосов как один. Клеменс замолкал и слушал. Потом шёл назад.

За двадцать дней из Солнечного дома вышли девятеро. По одному, ночью, через калитку в стене сада. Их ловили у калитки свои — мать, жена, брат, — и звали полным именем, с улицей, с родней, с разбитой кадкой на осенней ярмарке, — и они просыпались. Плакали. Не помнили, сколько дней прошло.

Остальные сто тридцать один не выходили.

Ильяс вернулся в Ракитное на сто восемьдесят восьмой — снова с Ортвином, с Бертраном, без солдат. Корвин отпустил: «Иди. Всё равно ты здесь ходишь, как волк по клетке». В лагере было тесно, тепло и пусто. Ярина ушла в Ордис через Дорогу. Кассиан с Лирой и Тальбертом — на север, в какой-то Перевоз, где мёртвые стояли на льду. Дарен — на воду, к вельсаркам. Все куда-то ушли. Ильяс остался один со своей рукой, и рука по ночам тянулась к небу, как паутинка.

В Ракитном рука тянулась к Солнечному дому.

Он не подходил близко. Стоял у колодца на площади, в тридцати шагах от ворот, и смотрел на медь. Искра в мёртвой ладони была тёплая — ровно, как печь из сеней. Иногда, когда за воротами пели, она теплела сильнее. Он сжимал руку в кулак и держал под плащом.

— Пойдёшь? — спрашивал Бертран.

— Нет.

— Почему?

— Потому что, если я подойду, они откроют, — сказал Ильяс. — И выйдут ко мне. Все сто тридцать один. Как овцы на свист. И пойдут за мной, куда скажу.

— А это плохо?

Ильяс посмотрел на него.

— Ты меня стукнешь, — сказал он. — Корвин велел.

— Стукну, — согласился Бертран.

* * *

Белые пришли на сто восемьдесят девятый.

Ильяс почувствовал их раньше, чем увидел, — как чувствуют, что в доме затопили печь: не жаром, тягой. Искра в ладони дёрнулась. Не потеплела — дёрнулась, будто кто-то на другом конце паутинки взялся и потянул. Он стоял у колодца, и рука под плащом сама собой стала разжиматься. Мёртвые пальцы, которым он не приказывал. Медленно. Как чужие.

Он прижал их здоровой рукой. Держал.

— Мила, — сказал он вслух.

Тяга ослабла. Не ушла. Ослабла — как ослабляет верёвку человек, который только примеряется.

— Что? — Ортвин вышел на крыльцо Хаасов в кожаном фартуке, с недочиненной уздечкой. — Ты чего?

— Идут, — сказал Ильяс. — С запада.

Ортвин посмотрел на запад. Потом положил уздечку на перила.

— Сколько?

— Много.

Их было двести шестьдесят. Ильяс понял это, когда они вышли на белое поле между ракитами, по дороге из Рассвета. Не строем — колонной, по трое, как ходят на долгий переход. Белые плащи. Светлые кольчуги. Знамя на древке — белое, с золотым кругом о восьми лучах. Перед колонной — всадник на сером. Высокий. Прямой. Без шлема.

Ильяс узнал его за полверсты. По посадке. По тому, как он держал повод — одной рукой, свободно, будто конь шёл сам. Двадцать с лишним лет Ильяс видел, как этот человек сидит в седле. И все эти годы хотел сидеть так же.

— Маттиас, — сказал Ортвин. Без удивления. Как говорят «зима».

* * *

Ворота Солнечного дома открылись.

Сами — Ильяс не видел, чтобы кто-то их открывал. Тяжёлые створки, окованные медью, поплыли наружу, медленно, ровно, и из них вышли — сначала брат Ансельм, старый, в белом, с двумя послушниками, потом остальные. Вместе с братьями — сто тридцать один. Ракитинские мужики и бабы, дети, старики. В праздничном, в лучших шубах, в белых платках. С хлебом на полотенцах. Они вышли на площадь и встали — ровно, в ряд, — лицом к западу. К дороге. Улыбаясь. Одной улыбкой на всех.

Село за спиной Ильяса молчало. Разбуженные — двести с лишним, если считать с девятью, — стояли у своих ворот и смотрели. Гертруда Хаас держала за руку Марьку. Берта Мельцер стояла у колодца рядом с Ильясом, с синими носками сына в руках — с красной полосой, теми, которые Ортвин сберёг, и смотрела на колонну — искала кого-то.

Колонна вошла на площадь и остановилась.

Маттиас сошёл с коня.

Ильяс смотрел на него. Он не видел его с осени — с того дня, когда Маттиас стоял на крыльце молельни в Рассвете, высокий, седой, с лицом, как лезвие, и смотрел, как Ильяс проходит внизу, и не остановил. Пустил нарочно. Тогда Ильяс ещё не знал, что нарочно.

Маттиас не изменился. Тот же. Седые волосы, коротко остриженные. Бесцветные глаза. Белый плащ без единого пятна. Шестьдесят два года, а спина — как древко. Он стоял посреди площади и улыбался.

Той самой улыбкой — одной на всех.

Ильяс уже видел эту улыбку в Рассвете. Тогда Маттиас сказал ему: «Ты дома». Теперь с той же улыбкой он пришёл сюда.

* * *

— Ильяс, — сказал Маттиас.

Голос был его. Сухой, ровный, негромкий, привыкший, что его слушают. Ильяс двадцать четыре года слушал этот голос — на плацу, в трапезной, на вечерне, у постели, когда болел. И сейчас, на площади в Ракитном, он почувствовал, как спина сама собой выпрямляется, как правая нога сама собой отступает на полшага, чтобы встать на колено.

Он не встал.

— Первый страж, — сказал он.

— Ты жив, — сказал Маттиас. — Я знал. Мне писали. После письма я больше тебя не искал. Мне велели ждать. Ты ушёл от света. Свет сказал: пусть. Он сам вернётся.

— Я не вернусь.

— Знаю, — сказал Маттиас. И улыбнулся шире. — Поэтому я пришёл сам.

За его спиной двести шестьдесят белых стояли неподвижно. Ильяс смотрел на лица. Он знал их. Не всех — многих. Ральф, широкий, с родинкой на щеке. Ганс Мельцер, молодой, курносый, ещё весной таскавший воду на кухню. Брат Оттон — третий слева, с лицом ласковым и не его. Брат Фабиан. Брат Луц. Брат Дитмар. Ильяс знал их по именам. Он ел с ними. Молился с ними. Ходил с ними на Ордис.

Они улыбались. Все.

Берта Мельцер у колодца рядом с ним вдруг тихо охнула. Она увидела.

* * *

— Отойдём, — сказал Маттиас. — Поговорим.

— Говори здесь.

— Здесь — люди.

— Здесь — люди, — согласился Ильяс. — Поэтому — здесь.

Маттиас посмотрел на него долгим бесцветным взглядом. Потом кивнул. Будто Ильяс правильно ответил на уроке в Рассвете.

— Хорошо, — сказал он. — Ты стал говорить, как они. Холодные. — Он сделал шаг к колодцу. Ещё один. Ильяс почувствовал, как искра в ладони рванулась к нему, — и сжал руку под плащом так, что мёртвые пальцы хрустнули. — Ты держишь то, что тебе не принадлежит, Ильяс.

— Это упало.

— Упало. — Маттиас остановился в пяти шагах. — Когда враг ударил его у моря. Враг всего живого, который вышел из-под воды за своими долгами. Ты видел. Ты стоял там. — Голос был всё тот же — его, Маттиаса, сухой и ровный. Но под ним, глубже, стояло что-то ещё. Как стоит вода подо льдом. — Он ударил, и от света откололся кусок. И упал тебе в руку. В мёртвую. Ту, которую ты сам погасил, когда ушёл.

— Что упало — то не его.

— Что упало — то его, — сказал Маттиас. — Если поднять. Если вернуть. Ты знаешь закон находки, Ильяс? Я тебя учил. Нашёл на дороге кошель — найди хозяина. Не нашёл — неси в Солнечный дом. Хозяин нашёлся. Вот он. — Он развёл руками. Медленно. Широко. — Отдай.

Ильяс молчал.

— Ему холодно, — сказал Маттиас. — Ты не знаешь, как ему холодно.

* * *

И тогда заговорил не он.

Ильяс понял это не по голосу — голос остался голосом Маттиаса. По тому, как стало на площади. Будто кто-то затопил большую печь посреди села, и тепло пошло — ровно, от края до края, без источника. Снег на колодезном срубе стал оседать. Белые за спиной Маттиаса — все двести шестьдесят — подняли головы одновременно. Сто тридцать один ракитинский — тоже. И заговорили. Все. С Маттиасом вместе. Одним голосом.

— *Ильяс.*

Ильяс стоял.

— Я держал тебя, когда ты был маленький. Ночь. Камень посреди площади. Круг на шаг. Ты помнишь, как было тепло. Лес шёл вокруг, а ты был в тепле. Я держал тебя всю ночь. Утром ты остался жив. К полудню он тебя нашёл.— Голоса не повышались. Двести шестьдесят и сто тридцать один — тихо, ровно, как поют колыбельную. — *Ты держишь моё. Я ранен. Я воюю за вас всех. Он пришёл с долгами — за каждым из вас. За каждым. Он взвесит всех. Положит на чашку. Он уже взвешивает — на севере, в Гавани, в Аппеле. Он хотел положить на чашку меня, когда этих гор не было. Меня — за всех. Я ушёл. Я сделал так, чтобы весов не было. Теперь он вернулся. Мне нужно тепло. Все, кто тёплый. И то, что ты держишь.*

— Нет, — сказал Ильяс.

— Подними руку,— сказали они. — *Ты можешь. Ты чувствуешь. Они все к тебе повернулись. Подними — и они пойдут за тобой. Ко мне. В тепло. Ты будешь стоять там, где стоит он.*— Маттиас чуть повернул голову к своей спине, к белым. — *Первым стражем. Как ты хотел. Всю жизнь хотел. Я знаю.*

Ильяс почувствовал это.

Не тепло — желание. Своё. Давнее. Встать там, где стоит Маттиас. Сидеть в седле, как он: одной рукой, свободно. Чтобы на плацу выпрямлялись спины, когда ты идёшь. Чтобы правая нога сама отступала на полшага. Он хотел этого с девяти лет, с того дня, как Ортвин в оружейной показал ему, как держать меч — «как мать держит младенца… это железо», — и он посмотрел через двор на Маттиаса, который стоял на крыльце, прямой, как древко, и подумал: вот так.

Свет знал. Свет двадцать четыре года лежал у него на плечах, как плед, и знал всё, что под пледом.

Искра в ладони была горячей. Впервые — горячей. Ильяс чувствовал, как она тянется — не к Маттиасу, выше, по паутинке, к белой точке на севере, — и чувствовал, как с того конца тянут в ответ. Сильно. Ровно. Как тянут рыбу, которая уже на крючке.

И вдруг — на долю мига, как бывает, когда тянешь верёвку и она звенит, — он увидел, куда она тянется.

Не точка. Что-то огромное, тёплое, раскрытое, — как та ладонь, что держала его в лесу всю ночь. А может, ему показалось. И где-то в середине, глубоко, под светом, — холодное. Маленькое. Как камешек в снегу. Или показалось и это.

Ильяс не понял, что это. Он только почувствовал, что там — болит. Давно.

Видение ушло.

— Мила, — сказал Ильяс. Тихо. Себе.

Верёвка ослабла.

* * *

— Его зовут Маттиас, — сказал Ортвин.

Он стоял на крыльце Хаасов, в кожаном фартуке, с руками, чёрными от дёгтя. Старый. Рябой. С перебитым носом. Он не подходил. Говорил оттуда, через площадь, громко, по-плацевому, как почти полвека говорил в оружейной Рассвета.

— Маттиас Ланг, — сказал Ортвин. — С Медвежьего хутора, что под Овечьим перевалом. Отец — Курт Ланг, углежог. Мать — Агнесса. Сестёр три, все старше, все замужем за пастухами. Пришёл в Рассвет в четырнадцать лет, рыжий, как лиса, и в первый же день разбил мне окно в оружейной камнем. Потому что хотел посмотреть, как стекло звенит.

Сто тридцать один и двести шестьдесят молчали.

Маттиас медленно повернул голову к крыльцу.

— Ортвин, — сказал он.

— Я, — сказал Ортвин. — Сорок восемь лет — я. Ты у меня меч ставил. Ты у меня на сундуке спал, когда тебя за вино выпороли. Ты, Маттиас Ланг, сорок восемь лет назад сидел на моём сундуке и ревел, что домой хочешь, к матери, к Агнессе, потому что она блины с брусникой печёт. — Ортвин спустился с крыльца. Подошёл. Встал в трёх шагах. — Помнишь, рыжий?

Маттиас смотрел на него.

И Ильяс увидел — на миг, на один-единственный — как что-то дрогнуло у Маттиаса в лице. Не улыбка — под улыбкой. Как дрогнуло у брата Ансельма, когда Ильяс сказал свету «спасибо — и всё равно нет».

— Помню, — сказал Маттиас.

Голосом своим. Одним. Без хора.

Ортвин медленно выдохнул.

— Ну вот, — сказал он. — Ну вот, Маттиас. Проснись.

— Я не сплю, — сказал Маттиас.

* * *

Он сказал это спокойно, своим сухим голосом, глядя Ортвину в лицо, — и Ильяс понял раньше, чем дослушал, и в груди у него стало холодно, как не бывало даже у Штиля.

— Я помню своё имя, Ортвин, — сказал Маттиас. — Я помню мать. Блины. Окно. Сундук. Я помню всё. Он у меня ничего не снимал. Мне — не надо было снимать.

— Тогда…

— Я выбрал, — сказал Маттиас. — Тридцать один год назад. Когда в Рассвет пришёл человек в метель в одной рубахе, и снег на нём не таял, и я открыл ему калитку. Ты не помнишь, ты был в оружейной. Я был у калитки. Я посмотрел на него и понял, кто это. Не понял — почувствовал. Как пёс чувствует хозяина. И открыл. — Он помолчал. — Он сказал: «Меня зовут Северин». А я подумал: тебя зовут не так. Но я буду звать, как ты велишь.

Ильяс смотрел на него.

— Ты знал, — сказал он.

— Я знал, что это свет, — сказал Маттиас. — Не магистр. Свет. Который ходит в человеке. Я тридцать один год служил свету, который ходил в человеке, и знал это, и никому не говорил, потому что меня не спрашивали. — Он перевёл взгляд на Ильяса. — А тебя я нашёл в Брене. Среди деревьев, где была площадь. К полудню. Мальчик на камне. Мне велели: мальчик. Я пошёл за мальчиком.

— А девочка?

Маттиас не ответил сразу.

— Девочку — не искал, — сказал он. — Мне сказали: мальчик.

На площади было тихо. Только где-то за домами, на реке, треснул лёд.

— Ты знал, — повторил Ильяс. — Двадцать четыре года. Что она была. Что она за кругом стояла. Что кричала.

— Знал.

— И молчал.

— Меня не спрашивали, — сказал Маттиас. — Ты не спрашивал. Ты не помнил. Он снял с тебя. А с меня — не снимал. Мне — не надо было. Я сам. — Он смотрел на Ильяса бесцветными глазами, и в них не было ни стыда, ни жалости, — только ровность. Как в воде, в которой ничего нет. — Я служу, Ильяс. Я выбрал служить. Тогда, у калитки. И сейчас. Это и есть верность. Не когда тебе тепло. Когда ты знаешь — и всё равно.

* * *

Ильяс не помнил потом, как вынул руку из-под плаща.

Он помнил только, что вынул. Правую. Мёртвую. Обмотанную тряпкой. И размотал. Тряпка упала в снег у колодца. Ладонь лежала открытая, белая, неживая, и в середине её — точка. Меньше зерна. Белая. Горячая. Он видел, как сто тридцать один и двести шестьдесят повернулись к ней. Все. Разом.

Ему было достаточно поднять руку.

Он чувствовал, как это было бы легко. Тепло пошло бы от него — его, своё, из искры, — и легло бы на них, и они пошли бы за ним. Куда скажет. Белые — от Маттиаса к нему. Ракитинские — из ворот к нему. Он мог бы сказать им: «Домой». И они пошли бы домой. Сто тридцать один — по домам, к жёнам, к детям, к разбитым кадкам. Двести шестьдесят — к матерям на хутора. Он мог бы сделать это прямо сейчас. Одним движением.

И они пошли бы — не потому, что проснулись. Потому что тепло.

Бертран стоял рядом. Ильяс не заметил, когда он подошёл. Стоял, большой, рыжебородый, в старом кожаном плаще, и не говорил ничего. Не замахивался. Просто стоял. Смотрел — прямо, как в эту зиму научился смотреть.

Ильяс опустил глаза на свою ладонь.

— Нет, — сказал он.

И сжал кулак. Медленно. Мёртвые пальцы, чужие, тяжёлые, сошлись над искрой, как сходятся створки ворот.

— Нет, — сказал он ещё раз. Маттиасу. — Не отдам. И не подниму. Ни тебе, ни себе. Это упало. Я держу. И всё.

* * *

Маттиас смотрел на его кулак.

— Тогда ты будешь держать один, — сказал он. — Долго. Очень долго. Пока не устанешь. Все устают, Ильяс. Я видел. Я почти пятьдесят лет на службе. — Он повернулся к белым. — Ты не можешь держать и не поднимать. Это как нести горящий уголь в кулаке и не бросать. Сгоришь.

— Значит, сгорю.

— Значит, сгоришь, — согласился Маттиас.

И тут Ильяс сделал то, о чём не думал заранее.

Он прошёл мимо Маттиаса. Прямо. В пяти шагах. Мимо его плеча, мимо его коня, мимо знамени. Подошёл к колонне белых. Остановился перед третьим в первом ряду. Курносым. Молодым.

— Ганс Мельцер, — сказал он. — Из Ракитного. С Нижнего конца, у мельничной запруды. Мать — Берта Мельцер. Стоит у колодца. Вон она. Держит твои синие носки с красной полосой. Ортвин их тебе сберёг, ты их забыл в оружейной, когда уходил. — Ильяс смотрел ему в глаза. — Ты в прошлом году, на Солнцестояние, свалился с лестницы в трапезной и разбил кувшин с молоком. Я видел. Ты сказал, что это кот. Котов в Рассвете нет.

Ганс Мельцер смотрел на него. Улыбался не своей улыбкой.

У колодца Берта Мельцер шагнула вперёд. Остановилась. Сказала — тонко, сорвавшимся голосом:

— Гансик.

Улыбка дрогнула.

— Гансик, — сказала Берта громче. — Носки. Я вязала. Ты пятку протёр на левом. Я заштопала.

Ганс Мельцер медленно опустил глаза. На свои сапоги. Будто видел их впервые.

— Мам? — сказал он.

И заплакал.

* * *

Дальше Ильяс шёл вдоль колонны и говорил имена — полные, с хутором, с улицей, с родней. Тех, кого не знал он, знал Ортвин — полвека в оружейной: «Луц Хаммер. Отец бочар в Озёрном. Ты у меня три раза ножны терял». Клеменс шёл последним и пел про козла, тихо. Чаще не помогало.

Маттиас не мешал. Стоял посреди площади, прямой, с улыбкой, и смотрел. Свет над площадью тоже не мешал.

Будто ему было всё равно. Будто у него были ещё тысячи. Десятки тысяч. И одиннадцать — это ничего.

Одиннадцать.

Столько сняли плащи. Ильяс считал. Ганс Мельцер. Луц Хаммер. Дитмар с Кривого ручья. Ральф — тот, широкий, с родинкой, — проснулся, когда Ильяс напомнил ему, как на Ордисе они вдвоём тащили из-под горящей галереи женщину, которая не выпускала корзину; проснулся и сел в снег и сидел, закрыв лицо руками. Ещё семеро. Брат Оттон — не проснулся. Ильяс постоял перед ним, долго, и ничего не сказал. Подкидыш. Имени до света у него не было. Некуда будить.

Двести сорок девять остались в плащах.

Сто тридцать один ракитинский — тоже. Брат Ансельм стоял в первом ряду, старый, в белом, с хлебом на полотенце. Клеменс пел ему час. Потом сел на ступени Солнечного дома и замолчал. Ансельм улыбался.

* * *

К вечеру Маттиас сел на коня.

— Мы уходим, — сказал он. Своим голосом. Ровно. — На юг. К морю.

— Куда? — спросил Ортвин.

— Туда, где дверь, — сказал Маттиас.

Ильяс поднял голову.

— Под городом на воде, — сказал Маттиас, — есть дверь. Её открыл мальчик Перехода. Через неё ушли мёртвые. Через неё вышел тот, с долгами. — Он подобрал повод. — Её надо закрыть. Навсегда. Тогда никто никому не будет должен. Ни живые, ни мёртвые. Некому будет взыскивать. Некуда будет уходить. Все останутся здесь. В тепле.

— Мёртвые — здесь? — сказал Ильяс.

— В тепле, — сказал Маттиас. И впервые за весь день в его голосе было что-то, похожее на нежность. — Он не хочет, чтобы кто-то уходил. Никогда. Никто. Он любит нас, Ильяс. Ты не понимаешь, как он нас любит. Он хочет держать всех. Как держал тебя в лесу. Всю ночь.

— А Милу — не держал.

Маттиас посмотрел на него сверху, с седла.

— Девочка ушла, — сказал он. — Потому что дверь была открыта. Если бы её закрыли тогда — она была бы здесь. С нами. В тепле. Ты этого не понимаешь. Ты думаешь, он её не спас. А он хочет, чтобы больше никого не нужно было спасать. Чтобы никто никуда не уходил.

Он тронул коня.

Колонна двинулась. Двести сорок девять. За ними — из ворот Солнечного дома — сто тридцать один ракитинский, с хлебом на полотенцах, в праздничных шубах. Брат Ансельм — впереди. Ворота за ними так и остались открытыми.

Берта Мельцер держала Ганса за рукав, будто он мог уйти.

Ортвин стоял посреди площади.

— Маттиас! — крикнул он вслед.

Маттиас не обернулся.

— Я тебя пережду! — крикнул Ортвин. — Слышишь, рыжий? Я терпеливый! Я полвека железо точу! Я подожду, пока ты устанешь!

Колонна ушла за ракиты. По белому полю. На юг.

Ортвин стоял. Потом сплюнул в снег. Потом вытер лицо рукавом — быстро, зло, по-солдатски — и пошёл к Хаасам. Чинить уздечку.

* * *

Ночью Ильяс сидел на крыльце Хаасов один.

Рука лежала на колене — правая, мёртвая, без тряпки. Тряпка осталась у колодца, в снегу. Он не стал её искать. Искра в середине ладони была тёплой — ровно, как раньше. Не горячей. Паутинка тянулась на север, к белой точке, и Ильяс чувствовал её натяжение, как чувствуют вес ведра, которое несут давно.

Бертран вышел на крыльцо. Сел рядом. Тяжело, со вздохом.

— Одиннадцать, — сказал он.

— Одиннадцать.

— Из двухсот шестидесяти.

— Да.

Бертран помолчал.

— Он прав, малый, — сказал он. — Маттиас. Ты не сможешь держать и не поднимать. Долго — не сможешь. Это правда. Я тридцать лет в ордене. Я видел, что бывает с теми, кто держит.

— Что?

— Устают, — сказал Бертран. — И отпускают. В одну сторону или в другую. — Он смотрел на север, на белую точку. — Знаешь, почему я тебя не стукнул сегодня?

— Почему?

— Потому что ты не поднял. — Бертран повернулся к нему. — Ты стоял с открытой ладонью, и они все к тебе повернулись, и ты мог. Я видел, что мог. И ты не поднял. Сам. Я бы не успел, если бы ты захотел. Ты быстрее меня. Всегда был.

Ильяс смотрел на свою руку.

— Там, наверху, — сказал он. — Когда он тянул. Мне показалось… — Он замолчал. — Ничего. Показалось.

— Что показалось?

— Что у него тоже болит.

Бертран долго молчал.

— Скажи Сновидице, — сказал он наконец. — Что показалось. Она разберёт, где показалось, а где нет. Она это умеет.

* * *

Писал он ночью, у Хаасов, при лучине, за столом, на котором Гертруда днём месила тесто. Левой рукой. Почерк выходил крупный, кривой, буквы валились набок, как пьяные на ярмарке. Ярина просила писать ей всё: имена — и то, что видел.

Имена он написал первыми. Одиннадцать. Ганс Мельцер, с Нижнего конца. Луц Хаммер, Озёрное. Дитмар с Кривого ручья. Ральф. Ещё семь. Каждое — на отдельной строке, медленно, чтобы не перепутать буквы. Потом, ниже: *Оттон — не проснулся. Подкидыш. Будить некуда.*

Потом: *Маттиас не спит. Знал про Милу. Служит сам. Идёт на Ордис. Весной. Хочет закрыть дверь. Чтобы никто не уходил.*

Потом он долго сидел над пустым местом.

Лучина догорела. Он зажёг новую от старой и сидел дальше.

Видел ладонь. Или показалось. Тёплая. В середине холодное, маленькое. Вокруг болит. Не знаю, что это.

Он перечитал. Вышло, как пишут дети: коротко и всё не то. Ярина записывала только то, что видела сама. Он не знал, видел ли. Он хотел зачеркнуть «или показалось» — и не зачеркнул. Это была правда. Самая честная строка на всём листе.

Он думал о Маттиасе. О калитке. О том, что тот знал — тридцать один год — и служил. «Это и есть верность. Не когда тебе тепло. Когда ты знаешь — и всё равно».

Двадцать с лишним лет Ильяс хотел быть, как он. Теперь — не хотел. В груди, там, где столько лет стоял Маттиас на крыльце, прямой, как древко, было пусто и холодно, и Ильяс не знал, что поставить на это место. Может, ничего. Может, так и оставить — пустую строку, как у Ярины.

Он сложил письмо вчетверо и придавил его кулаком — правым, мёртвым, — чтобы бумага не свернулась к утру. Утром Ортвин понесёт его в лагерь, к голубям Хедде.

Искра под мёртвыми пальцами грела лист — тихо, не спрашивая. К рассвету бумага стала тёплой, как хлеб, который только что вынули.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.